

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
№ 3

**РУССКАЯ
ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ**

Новосибирск
2003

СОДЕРЖАНИЕ

Русская интеллигенция: душа России по статье Алана Полларда.....	3
Н. В. Шелгунов. Новый ответ на старый вопрос.....	7
Н. К. Михайловский. Очерки общественной жизни...37	
П. Н. Ткачёв. Подрастающие силы.....	59
Историческая сатира – рецензия А. С. Суворина и ответ М. Е. Салтыкова-Щедрина.....	103
Н. В. Шелгунов. Европейский запад.....	126
А. И. Фет. Самосознание русской интеллигенции.....	145

РУССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ: ДУША РОССИИ

реферат по статье Алана Полларда¹

Происхождение слова «интеллигенция» и его производных

Начиная серию публикаций о русской интеллигенции, мы займёмся происхождением терминов «интеллигенция», «интеллигент» и «интеллигентный», которые в наше время потеряли своё прежнее значение. Теперь «интеллигентом» считается (и считает себя) каждый, получивший от государства какой-нибудь диплом, и в этом смысле Россия обладает теперь очень многочисленной интеллигенцией. Но в прошлом, до революции, такие люди считались бы, как правило, чиновниками.

Нас интересует в следующей дальше серии статей старый, *интеллигентный* смысл термина «интеллигенция», обозначавшего особую социальную группу, во многом определившую русскую историю до революции, и историю самой революции. Американец Алан Поллард называет эту группу «душой России»: мы перевели таким образом выражение *mind of Russia*, в котором слово *mind* можно также перевести как «разум» или «дух». Как нам кажется, по смыслу статьи, высоко расценивающей русскую интеллигенцию, лучше всего подходит русское слово «душа».

Слово «интеллигенция» происходит от латинского *intelligentia*, означающего «понимание, рассудок, познавательную силу, способность восприятия». Эти значения вовсе не относятся к какой-либо группе людей, а к свойству человеческого ума, и в этом смысле воспроизводятся французским словом *intelligence* и английским, с тем же написанием, а также немецким *Intelligenz*. Впрочем, немецкое слово означает также «совокупность образованных или творчески одарённых людей». Последнее значение, образовавшееся в середине 19-го века, выделяет группу людей по признаку высокого образования, не тождественному со специфически русским значением слова «интеллигенция». Это русское слово, хотя и предполагающее некоторую образованность, подразумевает определённый тип мышления и чувствования, ставивший на первое место интересы угнетённых и униженных, враждебный сословным привилегиям и произволу властей. Такое значение русского слова перешло в другие языки; например, английское слово *intelligentsia* воспроизводит русское произношение, но может относиться и к людям других национальностей с аналогичными нравственными установками. И всё же, «интеллигенция» – в основном русское явление.

¹ Alan P. Pollard. *The Russian Intelligentsia: The Mind of Russia*. California Slavic Studies, Vol.III, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1964, pp. 1– 32.

В конце 19-го века, когда это понятие приобрело большую важность, происхождением слова «интеллигенция» и его производных, в этом специальном русском значении, занимались специалисты по истории русской литературы. Они пришли при этом к ошибочному выводу, вошедшему даже в энциклопедию. В энциклопедии Брокгауза и Ефрона можно прочесть: «Слово “интеллигенция”, для обозначения отдельной общественной группы, появилась в 1860-е годы, и первоначально в России; Иванов-Разумник приписывает его введение в общее употребление Боборыкину»; Большая Советская Энциклопедия тоже утверждает, что это слово «впервые ввёл в русскую литературу в 1860-х годах писатель П. Д. Боборыкин в одном из своих романов».

Как это ни странно, подлинную историю слова «интеллигенция» восстановили лишь в 1960-х годах американские учёные. Об этом рассказывает реферируемая статья А. Полларда. На приоритет введения слов «интеллигенция» и «интеллигент» действительно претендовал второстепенный русский писатель либерального направления Пётр Дмитриевич Боборыкин (1836–1921), автор более ста сочинений – романов, очерков и критических статей. В 1904 году он утверждал в печати, что «запустил в обращение» слово «интеллигенция», в «одной из своих критических работ, в 1866 году», а затем повторял это притязание в 1908 и в 1913 году, в публикациях и докладе. По-видимому, ему удалось убедить в этом известного историка русской литературы С.А. Венгерова, автора авторитетного «Критико-биографического словаря русских писателей и учёных», вышедшего в шести томах в Петербурге с 1889 до 1904 года. Как писал Венгеров в этом словаре, «Боборыкину принадлежит честь введения в речь столь многозначительного понятия, как интеллигенция, понятия, которое, однако, никто не понимает». Это утверждение повторил, по-видимому, со слов Венгерова известный писатель Р. В. Иванов-Разумник, в своей статье «Что такое махаевщина?» (Спб., 1908): «Введение этого термина – одна из главных литературных заслуг П. Боборыкина». Иванов-Разумник, автор двухтомной «Истории русской общественной мысли» (1907), в отличие от Венгерова уже принимает понятие интеллигенции с полным уважением; как мы видим, на него ссылается энциклопедия Брокгауза и Ефрона. Таким образом родилась легенда, которую никто из русских литераторов не дал себе труда проверить.

В 1960 г. американский филолог Биллингтон опубликовал статью, сообщающую, что он обследовал все сочинения Боборыкина за 1860-годы, но не нашел в них слова «интеллигенция» в его новом значении, относящимся к общественной группе. Единственной публикацией за 1866 год, на которую мог сослаться Боборыкин, была статья в журнале «Русский вестник» под названием «Мир успеха: Очерки парижской драматургии», посвящённая парижским театрам. В этой длинной статье к интересующему нас предмету могли иметь отношение только два места: «ни малейшего намёка на интеллигентное или сценическое достоинство» и «без различия интеллигенции и общественного положения». В обоих случаях, очевидно, речь идет о качестве мышления, выражаемом по-французски прилагательным *intelligente* и существительным *intelligence*: русского смысла «интеллигенции» здесь нет и в

помине, да и речь идёт о совсем других вещах. Таким образом, Боборыкин забыл свою старую статью, или (что более вероятно, ввиду его повторных притязаний) намеренно ввёл в заблуждение русскую публику.

Как же в действительности возникло это поистине «судьбоносное» слово? Статья Полларда, основанная на тщательном просмотре русской печати 1860-ых годов, отвечает на этот вопрос. Слово «интеллигенция», в его современном значении, вошло в устное обращение в начале этого десятилетия, имело хождение в повседневной речи, а в литературу его ввели в 1868 году, независимо, три выдающихся русских публициста: Николай Васильевич Шелгунов (1824–1891), Петр Никитич Ткачев (1844–1885) и Николай Константинович Михайловский (1842–1904). Мы публикуем статьи этих авторов, где появилось впервые в печати слово «интеллигенция», с краткими биографиями и комментариями. Эти статьи представляют интерес не только для истории литературы. В них ярко отражаются представления и чувства русских интеллигентов, начавших сознавать свою особенность и свою судьбу, и обстоятельства того времени. В этих статьях нет попытки определить понятие «интеллигенции»: это слово просто применяется как общеизвестное обозначение определённого типа людей. Мы публикуем также более позднюю статью Н. В. Шелгунова, содержащую глубокий анализ исторической роли интеллигенции. Этот анализ Шелгунов предпослал как введение ко второму изданию своих сочинений, под названием «Европейский Запад». Кстати, предположительная датировка этой статьи, предложенная американцем Биллингтоном, неверна: она не была опубликована в 1864 году, как он думает, и вообще, по видимому, появилась впервые в этом Собрании сочинений 1891 года. Поллард пытается выяснить также историческое значение русской интеллигенции, но эта часть его статьи вряд ли представляет интерес. Он недостаточно знает Россию и русскую историю. Замечательно, однако, что «советские» историки не удосужились даже проследить происхождение терминов, встречающихся в этой истории на каждом шагу.

Все согласны с тем, что русская интеллигенция погибла, что её – как сознательной общественной группы – больше нет. Вместо неё после революции образовался общественный слой, называвшийся «советской интеллигенцией». Советской власти уже нет, но выданные ею дипломы остались, и чиновники ими весьма дорожат. И всё же, представление об «интеллигентности», об «интеллигентном поведении» всё ещё живо в нашем обществе, оно каким-то образом отделилось от казенного термина «интеллигенция». Внешним признаком «интеллигентности» является грамотная речь, свободное владение словом, замечательным образом выражающее то трудно определяемое качество человека, которое описывается как «внутренняя свобода». Обычно нам приходится сталкиваться – при любом формальном образовании говорящего субъекта – с неуклюжей, спотыкающейся речью малограмотного человека, выдающей несамостоятельность его мышления, скованность его воображения, то есть его внутреннюю несвободу. Более глубокое выражение «интеллигентности» передаётся очень русским словом «совестливость». К счастью, это свойство всё ещё понимают и ценят в России. Теперь оно проявляется в

простых житейских делах, но когда-то оно пронизывало всю личность интеллигентного человека, определяло его сознательное поведение. И замечательно, что до сих пор совестливость связывается с этим иностранным, но навсегда обрусевшим словом «интеллигентность». Несомненно, это основное содержание интеллигентного сознания всё ещё живо в нашей стране.

Первые интеллигенты появились у нас раньше, чем обозначающее их слово, о чём ещё будет речь в других статьях. Но в 1860-ые годы интеллигенция впервые явилась как сознательная общественная сила. Современному читателю может быть интересно познакомиться с этой «душой России». Читая помещённые дальше статьи, надо отдавать себе отчёт в их случайности: они выбраны по формальному признаку – первому появлению в печати ключевого слова. Но такая случайная выборка даёт нам возможность непосредственного общения с русской интеллигенцией при самом её зарождении, знакомит нас с её заботами и надеждами – и они оказываются очень похожими на наши нынешние заботы и надежды. Интеллигенция сталкивалась с чуждой ей, корыстной и жестокой властью, с рабством окружающего общества, с загадочным молчанием народной массы, как будто смирившейся со своей судьбой. И она искала ответ на вечный вопрос: «Что делать?»

НОВЫЙ ОТВЕТ НА СТАРЫЙ ВОПРОС

Н. В. Шелгунов

От редакции

Николай Васильевич Шелгунов родился в 1824 году. Отец его умер и семья осталась без средств к существованию. В возрасте трех лет он был отдан в «Кадетский корпус для малолетних», а в девять лет – в Лесной институт; таким образом начальство выбрало за него профессию. Он стал отличным специалистом и добился в 1856 году заграничной командировки, будучи к тому времени уже решительным противником самодержавного строя. По возвращении в Россию Шелгунов сближается с Н. Г. Чернышевским и начинает сотрудничать в «Современнике». В 1858 году, вместе со своим другом Михаилом Илларионовичем Михайловым, он совершает длительную поездку по Европе. В Лондоне друзья знакомятся с А. И. Герценом. В 1861 году Шелгунов публикует в «Современнике» свою первую большую статью – изложение известной книги Энгельса о положении рабочего класса в Англии. Это была первая в России работа о рабочем вопросе, еще в то время, когда в стране почти не было наемных рабочих. Впрочем, Шелгунов никогда не был марксистом.

В 1862 году, после отмены крепостного права, недовольство крестьян разделом земли приняло острые формы, местами происходили бунты. Русские радикалы, вождем которых считался Чернышевский, думали, что в стране складывается революционная ситуация. Они ошиблись в оценке положения и готовились уже возглавить революцию. Среди выпущенных ими прокламаций, призывавших к вооруженному восстанию, были обращения «К молодому поколению» и «К солдатам», написанные Шелгуновым. Царские следователи приписали первую из них – без достаточных оснований – Чернышевскому. Шелгунов отделался длительным заключением в Петропавловской крепости и ссылкой. Во время заключения и ссылки он непрерывно писал статьи для журнала «Русское слово», выходившего под редакцией Г. Е. Благосветлова; многие из них не пропускала цензура, но другие печатались и создали Шелгунову литературную репутацию. Можно удивиться, что эти статьи (и статьи заключенного Писарева) выходили под их именем и сделали журнал главным органом независимой русской мысли, в соответствии с его названием. Но, конечно, авторам приходилось прибегать к мимикрии.

Революция не состоялась, и Шелгунов принялся за работу просвещения российской публики. После закрытия «Русского слова» в 1866 году Благосветлов стал издавать журнал «Дело», где Шелгунов печатался восемнадцать лет, причем ему снова пришлось испытать заключение в крепость и ссылку. Его считали популяризатором и весьма недооценивали, потому что он писал не столь увлекательно, как Писарев или Михайловский. Литература была для него лишь средством пропаганды, но не искусством. По существу же он был выдающийся

социолог и историк, и многие идеи его сохранили интерес до нашего времени. Шелгунов умер в 1891 году; похороны его превратились в демонстрацию настроений созревшей русской интеллигенции. Его сочинения были изданы весьма неполно; третье и последнее их издание вышло в 1895 году.

Следующая дальше статья «Новый ответ на старый вопрос» (август 1868 года) требует некоторых пояснений, поскольку ее мысли зашифрованы для обмана цензуры. Цензоры не всегда бывали обмануты, но нередко делали вид, будто не поняли, о чем идет речь.

Вначале автор разделяется со старыми иллюзиями славянофилов, заявляя себя убежденным западником. Славянофильство – «сумбур немецкой философии с крепостными началами». Суеверия русского народа приписываются греческим и восточным влияниям. Затем приводится ряд народных обычаев, иногда курьезных, причем автор не делает разницы между русскими и нерусскими подданными России. Все это лишь подготовка к главному тезису – коллективизму русского крестьянства, выраженному сельской общиной. Приводится пример секты «общих», у которых все работы выполняются сообща, а правление выбирается всеми членами общины. На последней странице статьи определяется роль интеллигенции, как носителя индивидуального начала, и народа, носителя коллективизма. Их слияние составит «основной и единый руководящий общественный принцип». Это и есть главная идея народников.

Н. В. Шелгунов

НОВЫЙ ОТВЕТ НА СТАРЫЙ ВОПРОС

Один известный петербургский публицист видел весною нынешнего года странный сон, описанный им в майской книжке «Всемирного Труда». Снилось публицисту высокая плоская гора, о которой он потом узнал, что это гора неведения. Под горой толпилась кучка людей старых и молодых, деятелей слова, представителей русской мысли. Тут были и Тургенев, и Некрасов, и Стебницкий, и Щедрин, Ламанский, Скарятин, одним словом, решительно все, без исключения, современные литераторы. И все эти представители русской мысли имели вид гномов и, выкопав из-под земли огромный ком золота-самородка, катили его, подобно муравьям, на высокую гору, чтобы разделить золото между всеми обитателями плоской горы. Но ком срывался постоянно с полу-горы и увлекал за собой бедных гномов. И гномы опять начинали катить золотой ком в гору, и опять обрывались... а на горе сон и храп... А гномы все катят свой золотой ком, все стараются докатить его до вершины и опять срываются, опять взбираются на крутизну...

Этой аллегорией петербургский публицист хотел изобразить печальную историю умственного бессилия представителей русской мысли и невозмутимую неподвижность страдающего народа.

Но так ли это? Понял ли публицист свое время? Действительно ли неподвижен народ, а русские писатели уж такие ничтожные гномы?

И этот публицист не один. За ним стоит целая масса разочарованных людей, выведших ошибочное заключение из неудачных результатов своей личной деятельности и своего личного развития. Люди эти смотрели с упованием на прогрессивные теории Запада. От них ждали они немедленного обновления всей русской жизни. Но момент обновления не наступил, ибо исторический рост народа не измеряется короткими периодами жизни отдельного человека. И вот люди опустили руки. Они стали осуждать теории, вместо того чтобы винить свою близорукость.

Не одному публицисту, о котором речь, грезятся подобные сны. Их видели писатели, по-видимому, другого закала, которые в сущности пришли к тому же выводу. Публицист, потеряв веру в себя, потерял веру в знание и прогресс, упал духом. Но эти другие, хотя и не упали духом, но тоже стали искать новых средств обновления. Они тоже отвернулись от Запада, они усомнились в спасительности естествознания и социально-экономических теорий и настроили свою публицистскую лиру по историческому и юридическому камертону. Они обратились к кропотливому исследованию ученых пустяков, обратились к направлению почвенников и умеренным либерализмом маскируют свой поворот назад. Писатели этого сорта и их публика дают тон всей современной литературе и своеобразную умственную физиономию современному образованному обществу.

Но велико заблуждение тех, кого обманывает это quasi-прогрессивное направление. Нам было всегда вредно уходить в себя и отрешаться от теорий Запада. Уходить в себя – значило для нас уходить назад: уходить на Восток, а не на Запад.

В стремлениях и попытках образованных людей катить золотой ком на гору неведения коренные обитатели этой горы остаются ни при чем. Ни прогрессивное возбуждение передовиков, ни поворот их назад не касались обитателей неведомой горы. Жизнь их шла своим порядком и, пожалуй, публицист прав, что золотой ком до верхушки горы не докатится.

Но только кто же виноват в этом? Вы думаете, бессилие и ничтожество теорий Запада? Вы думаете, отсутствие гениальных публицистов? А я спрошу вас: если бы мы в химической лаборатории приготовили искусственного публициста и оратора из таких материалов, как умственные элементы всех гениев древнего и нового мира, думаете ли вы, что в современный исторический момент он вкатил бы золотой самородок на вершину горы?

Виною этого не отдельные деятели, а исторический рост русского интеллекта. Возбужденный одно время, он проявил усиленную деятельность; теперь же он опять встал на свой средний уровень и оттянул за собой большинство. В жизни народов за восторженностью, энтузиазмом и усиленной умственно-общественной деятельностью следует всегда реакционное отступление.

Вступив в момент общественной апатии, мы, конечно, не попали еще в безвыходное болото. Правда, мы сделали шаг назад, но только для того, чтобы снова идти вперед, хотя и новым способом. Мы снова примемся и принимаемся катить золотой ком на гору неведения; но на этот раз, может быть, с большею осмотрительностью и меньшею запальчивостью. Как же катить нам этот ком,

чтобы не нарушить спокойного сна публициста, напуганного страшными видениями?

II

Ломоносов начал собой новый период интеллектуальной русской жизни. Из образования и просвещения он хотел создать общерусское дело, а не аристократическую забаву одних знатных, богатых и праздных.

Со времени Ломоносова начинаются исследования русского языка, русской истории, русского быта. Прошедшее столетие, не считая немецких ученых, оказавших нам в этом отношении большую услугу, выставило и своих русских деятелей, но отношение этих русских деятелей к русской жизни было почти исключительно аристократически-платоническое. Исследователи являлись, если и не всегда из высшего слоя, то всегда из людей, не имеющих с народом ничего общего. От этого русские вопросы, которые хотели разрешить, не были вопросами народными. Кто были эти деятели? Какие-нибудь Татищевы, да Щербатовы; разве изредка прорывался человек, вроде Радищева, да и у того в основе лежал принцип христианского пассивного смиренномудрия, отнимающего силу у человека, желающего быть народным деятелем.

Как ни были, однако, ничтожны первые попытки, маленький ком становился все больше и больше, а гномов, кативших его, постоянно прибывало. За исследованием языка и собиранием исторических материалов последовало собирание материалов из народного быта, возбуждавшее в лучших людях времени тяготение к своему родному. Вместо прежнего направления, исключительно западного, начало являться направление народное, создавшее, наконец, славянофильство.

Славянофилы первые подняли знамя народности и выступили партией. Но они не поняли народной жизни. Они отнеслись к ней с смутною мыслью, с смутным чувством, и потому не могли создать ни доктрины, ни программы. Чего хотели славянофилы и к чему они стремились? На этот вопрос никто не даст вам, читатель, ответа и, конечно, меньше всего сами славянофилы. Славянофилы горели весьма похвальной любовью к своей родине; но они были не больше как патриотические мистики. У них было русское сердце, сердце горячее, пылкое, но патриотизм их жил вовсе не в голове. Преисполненные философского сенсуализма, входящего таким сильным элементом в наше общественное мировоззрение, когда дело касается народной массы, славянофилы возбуждали в себе искусственное, отвлеченное чувство и, проповедуя безграничную любовь к своему родному и отрешение от гнилого Запада, хотели не только обновить русскую жизнь, но и спасти новым, неведомым до того, русским словом все народы. Какое же это было слово? В чем заключалась обновляющая сила русского человека? Славянофилы не знали ни того, ни другого. Они веровали и смутно чувствовали; они сотворили искусственную русскую душу из открытых ими элементов, и хотели этой искусственной душой спасти мир, как новым откровением. Живя исключительно мистическим воодушевлением, славянофилы были чужды всякой реальности, всякого действительного знания своей страны и своего народа. От этого, провозгласив принцип народности и

теорию сближения с народом, они ни себе, ни другим не могли объяснить, что значит народность, и как можно сблизиться с народом. Они придавали словам: православие, самодержавие, народность, какой-то кабалистический смысл, не взяв на себя труда разложить на составные элементы эти три слова и объяснить толковым и понятным образом, какую роль в исторической жизни народа играли эти три магические понятия.

Если обратить внимание на то, что славянофильство было создано людьми хотя и честными, бескорыстно желавшими счастья народу, но в то же время людьми, увлекающимися до мономании, – людьми, воспитанными на каком-то сумбуре немецких философий с крепостными началами русской жизни, то становится совершенно понятным, почему славянофилы не могли собрать под свое знамя людей положительных и практических. Положительный человек спросил бы, что нужно делать для того, чтобы обновить русский мир новой химически приготовленной славянофилами русскою душою и как сблизиться с народом? У славянофилов был только один готовый рецепт. Они давали вам три магических слова и русскую поддевку, и затем считали свое дело конченным, а вас окрещенными новым духовным русским крещением. Славянофилы и сами чувствовали свое смешное положение, они и сами знали, что для удовлетворения положительных людей у них нет никаких положительных ответов. И несмотря на свою пламенную любовь к народу, несмотря на свою поддевку, славянофилы были, быть может, более чем кто-либо другой иностранцами на своей родной земле. Этого мало. При всех своих гуманных и патриотических стремлениях, при всем своем желании излить на свою страну потоки благополучия, славянофилы, в сущности, были силой не прогрессивной, а ретроградной. Они не были людьми будущего, людьми отдаленного идеала, а напротив людьми старой московско-византийской Руси. Их смутные стремления были направлены не вперед, а назад.

Славянофильское направление, несмотря на свою нелепость, не прошло бесследно. С одной стороны, оно вызвало целую массу людей, занявшихся исследованиями народного быта; с другой, оно возбудило много толков, способствовавших большему уяснению понятий об истинном патриотизме, и создало новое движение мысли, уже более положительной и менее мистической.

В главе этого нового движения стали так называемые почвенники. Они – те же славянофилы, но несколько измененные. Их сердечные порывы *слабее*, а мысль как будто бы серьезнее. Почвенники уже поняли, что одной поддевкой нельзя устроить сближения с народом. Они поняли, что три магических слова славянофилов не заключают в себе волшебной силы и, отказавшись от них и от поддевки, начали вести речи, по-видимому, хотя и более благоразумные, по крайней мере, более спокойные, но в сущности такие же темные и непонятные.

Они рассуждали очень много о почве, о народности в науке, о необходимости органического развития, о вреде увлечения западными теориями и старались доказать, что для нас, русских, существует только один единственно правильный путь развития – саморазвитие или прогрессивный рост не сверху вниз, а снизу вверх.

Проповедуя это новое учение, почвенники точно так же, как и славянофилы, витали в сфере общих соображений и, чувствуя свое сродство с народом, все-таки не знали, каким средством можно вытащить клин, вколоченный Петром I.

В период деятельности почвенников голос их был слаб, ибо против них стояла целая партия западников, подавлявшая их смутную мысль и темные, неясные стремления вполне законченными западными теориями. Какую русскую мысль, какую русскую теорию, какое русское слово, созданное русской жизнью, могли сказать почвенники в ответ на разносторонне разработанные Западом социально-экономические учения? И почвенники чувствовали свое бессилие и ограждались, как щитом, своею любовью к народу, думая, что только они одни и есть настоящие русские люди и истинные патриоты.

И почвенники сошли со сцены, как сошли славянофилы. Современное общество, забыв, по-видимому, почвенников, но и усомнившись в спасительности теорий, выработанных умом западного человека, повернуло как бы на новый путь. Западники притихли и забытые славянофилы и почвенники как бы воскресают в том новом патриотическом настроении, которое явилось после последних польских событий.

Общество снова, хотя и не с тем энтузиазмом, обратило свои взоры на народную жизнь и в почвенности и органическом развитии из самого себя видит верный путь своего прогресса. Национальное чувство, бывшее прежде уделом немногих, охватило теперь большее число лиц, и в стремлении к национальному развитию, явившемуся снова, они думают видеть новый период русской истории.

Мысль эта еще совершенно смутна. Она живет больше в чувстве, в стремлении, чем в сознании. Что значит национальное органическое развитие? Возможно ли оно в том очищенном виде, как хотели его славянофилы и почвенники? В оно должно оно заключаться и каким путем, выгнав клин Петра, мы, образованные люди, сблизимся с народом, а гномы петербургского публициста вкатят самородок золота на гору неведения?

III

Бокль задумал писать историю цивилизации Англии, а не какой-либо другой страны, именно потому, что из всех европейских государств Англия развилась наиболее органически. Органические условия развития, по крайней мере, за последние триста лет, соблюдались в Англии наиболее успешно, чем где-либо. Из всех стран Европы только в одной Англии правительство было наиболее спокойно, а народ наиболее деятелен. Только в Англии свобода народная покоилась на более широком основании. Каждый мог говорить, что думал, и делать, что угодно, следовать своим наклонностям и распространять свои мнения. Только в Англии были менее сильны преследования за веру и мысль развивалась свободнее, не ограниченная теми стеснениями, которым она подвергалась в других странах. Только в Англии проповедование ересей было менее опасно и исполнение еретических обрядов более обыкновенно. Только в Англии враждебные вероисповедания процветали друг подле друга, не стесняемые ни требованиями церкви, ни надзором правительства. Только в Англии подверглось

впервые нападению во все вмешивающееся учение так называемой покровительственной системы и было отвергнуто. Только в Англии деспотизм и бунты были редки, потому что основным началом внутренней политики была признана сделка. Если к этим обстоятельствам прибавить, что, благодаря своему географическому положению, Англия до конца прошлого столетия была редко посещаемая иностранцами, то становится очевидным, что в своем развитии страна эта подверглась менее всего действию двух главных источников вмешательства: деспотизма и влияния иностранцев.

Франция находилась в условиях, далеко менее благоприятных для самостоятельного развития. С самого начала Франция подчинялась уже влиянию древнего римского мира и внесла в свою жизнь его юридическое мировоззрение. Далее, Франция, более чем какое-либо из европейских государств, страдала от деспотизма и вмешательства длинного ряда абсолютных правителей. Самостоятельная жизнь народа была постоянно стесняема регламентацией и покровительственной системой. Наконец, самая первая французская революция, являющаяся как бы исключительным проявлением французского духа, была в действительности результатом внешнего, постороннего влияния. Хотя революция 1789 г. и была возбуждена немногими замечательными людьми, которых сочинения и речи возбудили народ к сопротивлению, но тем не менее известно, что вожди французского движения заимствовали из Англии те философские и политические учения, которые разразились, наконец, катастрофой.

Еще менее органического представляет в своем развитии Германия. Как ни прославилась Франция вмешательством своих правительств в дела народа, но Германия в этом отношении стоит далеко выше Франции. Даже самые лучшие германские правительства никогда не предоставляли народ самому себе, постоянно следили за его интересами и впутывались в самые обыкновенные явления его обыденной жизни. Немецкая литература, занимающая такое видное место, первая в Европе обязана своим происхождением французскому нигилизму, предшествовавшему французскому перевороту. Первый толчок немцам дали французы, явившиеся при дворе Фридриха Великого. Берлин, сделавшийся средоточием науки и философии, обнаружил свое интеллектуальное влияние на всю Германию. Это постороннее влияние имело на Германию влияние слишком сильное, оно создало восторженную, поспешную, усиленную умственную деятельность, гораздо более сильную, чем какая требовалась общим уровнем цивилизации страны. Ни в одном государстве Европы не существует такой огромной разницы между развитием народа и образованных классов. В то время, как образованный немец парит в высших пределах мысли и говорит утонченным, возвышенным языком, простолюдин исполнен предрассудков, не способен сам заботиться о своих нуждах и говорит древне-германским наречием. Разъединение высших и низших в Германии так велико, что вызывало явление аналогичное с нашим славянофильством. Немецкие германофилы, подобно нашим славянофилам, воспылали платонической любовью к народу и подняли толки о сближении. Они, подобно нашим славянофилам, явились силой не передовой, а отсталой и, устремив свои очи назад, в умершем пытались искать спасения живому. Рассудительные немцы отнеслись к этому явлению так же, как рассу-

дательные русские к славянофильству, и общественное мнение Германии, оценив правильным образом значение германофильства, от него отвернулось.

Обращаясь к России, мы видим, что все те условия, которыми нарушается органическое развитие европейских народов, были и у нас. Может быть, одни из благоприятных влияний действовали у нас сильнее, другие слабее, но в целом мы подчинились тому же закону исторической солидарности, который лежит в основе развития всех остальных народов.

О самостоятельном развитии Руси до прихода норманнов говорить мы ничего не можем, потому что не имеем для того ровно никаких данных. Но с приходом варяжских князей начинается первое внедрение постороннего элемента в русскую народную жизнь. Норманнами начался наш героический период и к этому времени относятся наши былины, живущие до сих пор в народе и поддерживающие в его памяти воспоминание о его народных героях и богатырях. Кроткие славяне, отличавшиеся миролюбием и домовитостью, с приходом норманнов усвоили себе богатырские привычки и начали развивать в себе военные склонности. В тот же период мы замечаем внедрение в русскую жизнь еще нового начала. Христианство, явившееся из Греции, познакомило нас с греческим мировоззрением на природу и внесло к нам греческие обычаи и привычки, бывшие чужими славянскому языческому миру.

В греческом мирозерцании мы должны различать два воззрения: языческо-философское и философско-христианское. Языческо-философское воззрение приняло мистический характер, послужило основой суеверий и сложилось в целую, довольно полную систему народного воззрения на природу и действующие в ней силы. Так, у нас есть семь списков о сивиллах, имеющих чисто греческое происхождение и знакомящих нас с теорией мышления греков. В одном из списков мы читаем: «Преизрядное видится быти древнее оное верховнаго Аристотеля речение, еже пишет во своих Метафисиках: се есть вси человецы ведати желают; желание сие о сведении всех вещей аще и многообразно бывает философии в четыре определения вопросительныя собирают, сиречь: аще есть? что есть? каково? и чего ради есть? – Сицевым образом и нам начинать предложение наше о Сивиллах подобает, яко да чиновне и несмешена будет повесть наша. Чин бо свят есть по философу всех вещей. Сего ради, что ни чиновно пишется, то зло темно и неудобь-разумно и безтрудно есть!» Это место показывает, что русский человек, усвоив философский метод Аристотеля, видел в логике необходимое пособие для правильного суждения. Разумеется, Аристотелевская логика не обнаружила особенного влияния на развитие народного интеллекта; но тем не менее, как видно, оно было вовсе не чуждо нашим древним книжным людям и автор списка о сивиллах, для того, чтобы его рассказ вышел чиновен и удобообразен, считал необходимым изложить его в строгой логичной последовательности – аще есть? что есть? каково? и ради чего есть?

Если логика Аристотеля, проложившая путь в древнюю Русь, не имела особо заметного воспитательного влияния на наш народ вообще и была достоянием только немногих книжных людей, зато другие понятия, менее сложные и более доступные понятию простого человека, нашли весьма плодотворную

почву. Я не буду производить анатомического исследования этого понятия и точного исследования этих источников, во-первых потому, что не имею для этого достаточных средств, а во-вторых потому, что не приписываю подобному исследованию особенной важности. Я задался мыслью показать читателю, что так называемого органического развития в жизни русского народа никогда не бывало, что историческая солидарность постоянно связывала нас с другими народами и постоянно вносила в наше мировоззрение чуждый нам элемент. Чтобы достигнуть этой цели, мне нет никакой необходимости анализировать каждое заносимое к нам чуждое мировоззрение на его составные элементы и показывать, что из них принадлежит миру индейскому, что миру персидскому, что миру греческому. Совершенно достаточно будет и того, если мы узнаем, что эти мировоззрения не славянские.

Сахаров, в своих «Сказаниях русского народа», говорит, что всеобщее мировое чернокнижие принадлежит первым векам мироздания, и в том виде, как выразилось в русском чернокнижии, не есть порождение дум русского народа. Основные идеи для создания мифов и верований, которыми русский человек хотел пополнить недостаток своих положительных знаний, создал древний мир и усвоил их всему человечеству. Ни русские, ни немцы, ни французы не придумали ничего своего. Восток – вот колыбель отвлеченных человеческих воззрений и верований, сделавшихся суевериями лишь тогда, когда человеческий ум выработал настоящую истину. На Востоке народы создавали идеи для мифов, думы для тайных сказаний, рассказы о былом для поверий и олицетворяли их видениями. Во всем этом вырабатывались воззрения для быта религиозного, политического, гражданского. Семейная жизнь строилась на этом же основании. Но мир древних прошел; народов, составлявших их, не существует; а между тем их верования и воззрения вошли в жизни новых народов. Не создав своего, многие народы унаследовали старые понятия и только изменили их в духе своей новой жизни. Каждый народ усвоил себе основы древнего мировоззрения и только откидывал в них то, что ему казалось лишним, или прибавлять то, чего, по его мнению, недоставало.

Эти восточные воззрения, вырабатывавшиеся в Египте, Персии, Индии, занесли в Грецию и Рим, а оттуда перешли к нам и на Запад.

В древнем мире были свои прорицатели, владевшие мировыми тайнами и составившие даже касты, свято хранившие, в ненарушимой чистоте, мудрость и знание тайн природы, которыми они владели. Так, у греков были астрологи, авгуры, прогностики, мистагоги, сортилеги, гаруспеги, пифонисы, внесшие и в русскую жизнь свои знания².

В русскую землю астрологические понятия вошли еще в глубокой древности и так срослись с нашим народным мировоззрением, что и до сих пор народ верит во влияние звезд на судьбу человека. – В 1584 в Москве явилась комета с крестообразным небесным знаменем. Иван Грозный, смотря на эту комету, сказал: «Вот знамение моей смерти!». Царь велел собирать астрологов по Рос-

² Авгуры – жрецы у римлян, делавшие предсказания по полету птиц; сортилеги – пророчествующие, прорицатели; гаруспики – предсказатели по внутренностям животных. Остальные названия объясняются ниже в тексте. – *Примеч. ред.*

сии и Лапландии. Их собралось в Москве до 60 человек и они предсказали царю смерть. Волхвы и астрологи, приходившие к нам из Лапландии, занимались предсказаниями на основе небесных явлений, и народ еще до сих пор боится комет и в появлении их видит предзнаменование своих бедствий.

Кудесничество авгуров точно так же внесло в русское мировоззрение свое влияние. Крики ворона, вороны, совы считаются предвестниками бедствий; по кукованию кукушки определяется число лет жизни человека; в пении курицы усматривают пророчество на скорую смерть или на какое-нибудь другое домашнее неблагополучие; наконец, в святочных гаданиях клевание зерен курами служит предсказанием предстоящего брака.

Прогностики древней Греции объясняли счастье и несчастье снами и для устранения бедствий прибегали к очистительным молитвам. Русский человек, усвоивший воззрение прогностиков, до сих пор верит снам, до сих пор прибегает к очистительной молитве.

Мистагоги, толковавшие афинянам таинства при явлении странных призраков, точно так же имели влияние на русское мировоззрение. И наш простолюдин, особенно деревенский, до сих пор верит в видения, до сих пор боится ходить в баню после двенадцати часов, до сих пор боится кладбища, в котором по преимуществу живут страшные видения и призраки.

Пифонисы – греческие волшебницы – были, как кажется, источником чародейской мудрости наших колдунов. По крайней мере, несомненно, что приемы греческих чернокнижников имели большое воспитательное влияние на наших колдунов и чародеев. Так, по виду и положению тела умершего человека, наши колдуны определяют будущую участь его семейства. Падающая звезда служит верным признаком чьей-либо смерти. Нашептывание на воду считается необходимым при отыскании пропавшей вещи и похитителей ее. Колдуны наши вызывают тени и души умерших, и народ слепо верит в их могущество над духами. Наши поселяне определяют по дыму погоду и дымом уничтожают многие болезни скота. На святках девушки и до сих пор гадают в зеркало о суженом, о жизни и смерти отсутствующего и льют воск в воду для узнания своей судьбы. Наши знахари решают участь людей, кидая уголь в воду и замечая, не кипит ли она. Наши девушки или женщины, услышавши весною первый раз гром, бегут к воде для умывания, думая, что умывание в это время водою может сообщить лучший цвет лицу. Селянин думает, что появление мышей предвещает всегда бедствие и грозит неурожаем. По белым пятнышкам, являющимся на ногтях, судят о здоровье и болезни человека, или предсказывают прибыль. По зародышу куриного яйца деревенские беременные женщины судят, какого пола родится у них ребенок. Уроды-животные наводят на простолюдина ужас и убиваются, как порождение нечистой силы. Наши колдуны смотрят с великим уважением на золу, как на вспомогательное средство для прорицаний, и каждый колдун имеет при себе золу из семи печей, которой посыпает след человека во время колдования. Наш крестьянин, рассердившись на своего соседа, бросает на его двор горстями золу, думая этим истребить всякую растительность на земле своего врага и т. д. Все эти верования перешли к нам прямо из греческого мира и у древних греков составляли предмет занятий

особых, специальных ведунов и имели свои специальные названия, как: антропомантия, аэромантия, гидромантия, катопромантия и т. д.

Влияние Греции отразилось еще другим образом в нашем христианском мировоззрении.

Христианская философия пошла вразрез с философией языческой и, явившись врагом ее в Греции, явилась таким же врагом ее и у нас в России. Можно сказать, что языческое и христианское греческое мировоззрение вошли к нам одновременно, и немедленно между ними началась борьба, продолжающаяся даже до сих пор.

Митрополит Фотий, в послании к новгородскому архиепископу в 1410 году, писал: «Учите, чтобы басней не слушали, лихих баб не принимали, ни узлов, ни примолвления, ни зелия, ни ворожения, и где таковые лихие бабы находятся, учите их, чтобы престали». Новгородский архиепископ Геннадий в полании к Нифонту, епископу суздальскому, говорит: «Уже ныне ругаются христианству: вяжут кресты на вóроны и на ворóны... Вóрон летает, а крест на нем вязан древесн, а на ворóне крест медям. Да привели ко мне попа, да диакона, а они дали крестьянину крест тельник: древо плакун... а христиан учал с тех мест сохнути, да немного болел, да умер». Из этих слов видно, что и сам архиепископ не был чужд веры в чернокнижие.

В 1673 году Мисаил, митрополит белгородский, писал к Никодиму, архимандриту курского знаменского монастыря: «Да в городах же и уездах мужеского и женского пола бывают чародеи и волхвованием своим и чародейством многих людей прельщают. Многие люди тех волхвов и чародеев в дом к себе к малым детям и больным младенцам призывают, а они всякое волхвование чинят и от правоверия православных христиан отучают».

В Стоглаве говорится: «Неции непрямо тяжутся, а поклепав крест целуют, на поле бьются и кровь проливают и в те поры волхвы и чародейники от бесовских научений пособия им творят, кудесы выют и в Аристотелевы врата и в Рафли смотрят и по звездам и по ланитам глядают и смотрят дней и часов... И на те чарования надеясь поклебца и ябедник не мирятся и крест целуют и на поле бьются, и поклепав убивают... Злые ереси, кто знает их и держится... Рафли-Шестокрыл, Вороноград, Остромий, Зодей, Альманах, Здездочетьи, Аристотель, Аристотелевы Врата и иные коби бесовские... тех всех еретических книг у себя бы не держали и не чли... Первый понедельник Петрова поста в роци ходят и в наливках бесовские потехи деят... В Великий Четверг порану солому палят и кличут мертвых; некоторые же невегласи попы в великий четверг соль пред престол кладут и до седьмого четверга по велице дня там держат и ту отдают на врачевание людям и скотам... По селам и волостям хотят лживые пророки, мужики и жонки, и девки и старые бабы, наги и босы и волосы отrostив и распустя, трясутся и убиваются, а сказывают, что им являются с. Пятница и с. Анастасия и заповедуют в среду и пяток ручного дела не делати, и женам не трясти, и платья не мыти, и камения не разжигати».

Борьба, которую приходилось выдерживать с зашедшим к нам греческим суеверием, была не легка, потому что оно проникло не только в крестьянскую избу, но и в царские палаты, и имело вид книжного учения, ибо распространя-

лось в печатных книгах и списках. Мы уже видели, как поступил Иван Грозный, когда появилась в Москве комета. Не лучше поступал и отец его. Князь Курбский рассказывает, что «Василий с законопреступною женою юною сущей, сам стар будучи, искал чаровников презлых отовсюду, да помогут ему к плодотворению ... о чаровниках же оных так печашася посылающе по них тамо и овамо аж до Корелы, и оттуда привожаху их к нему»... Иван IV писал Курбскому: «Наши изменники бояре наустиша скудожайший умом народ, что будто матери нашей мати, княгиня Анна Глинская с своими детьми и с людьми, сердца человеческие вымали и таковым чародейством Москвы попалили». В 1632 г., во время войны с Литвою, запрещено было ввозить в московское государство хмель, потому что лазутчики донесли, что какая-то баба ведунья наговаривает на хмель, чтобы тем хмелем, когда он будет ввезен в Московию, навести моровое поветрие.

Если подобные нам воззрения жили в головах царственных особ и высокопоставленных правительственных лиц, имевших бóльшую возможность отрешиться от суеверия, то очень понятно, какой сумбур обитал в голове простонародья. – В простом народе, кроме суеверия, забредшего к нам с Рафлями, Аристотелевыми Вратами и т. д., жило еще поклонение языческим славянским божествам и по преимуществу поклонение частным семейным богам. Из слов Христолюбца видим, что еще в XVI ст. было живо у нас поклонение роду и рожаницам и что оно сопровождалось разными увеселениями. Христолюбец говорит: «Не подобает крестьянам игор бесовских играти; иже есть плясьба, гульба, песни бесовские, и жертвы идольские, иже огневи молятся и вилам и Мокоши и Симу, Реглу и Перуну, и роду и рожаницам и всем тем, иже суть им подобна».

Поэтому понятно, как наши христианские учителя и как наше духовенство должны были восставать против всяких суеверий, тем более, что, как мы видели, и самые «невегласи попы в великий четверг соль пред престол кладут и до седьмого четверга по велице дни там держат и ту отдают на врачевание людям и скотам». Вот почему, резко восставая против всего языческого и бесовского, христианские учителя впали в крайний аскетизм и вместо одной крайности стали проповедывать другую. Наши христианские проповедники начали преследовать все увеселения, игры, забавы, музыку. Они считали бесовскою потехою даже народные песни. Им казалось, что единственная душеспасительная жизнь требует полного отрешения от всякого наружного проявления радости и довольствия и должна заключаться исключительно в набожности. Им хотелось всю Русь превратить в монастырь и весь народ в монахов и в монахинь. В поучении Ефрема Сирина говорится, что Христос [говорит] посредством пророков и апостолов, «а диавол зовет гусльми и плесце и песнями неприязненными и свирельми. Бог вешает: приидите ко мне вси и никто не двинется, а диавол устроит сборище и много набирается охотников. Заповедуй пост и бдение – все ужаснутся и убегут, а скажи пирове ли, вечера ли, песня приязны, то все готовы будут и потекут аки крылаты».

Взамен этих богопротивных забав, духовенство усиливалось приучить народ к забавам, по его мнению, чисто-христианским. Однако, народ подчинялся

туго внушениям пастырей церкви и только отдельные, наиболее благочестивые люди и люди грамотные и знатные, составлявшие высший слой населения, подчиняли порывы веселости правилам церковного порядка. Действительно, благочестивые люди и те, которые хотели казаться такими, не знали другого развлечения, кроме церковного пения. Для церковного пения в старину устроены были особенные школы, в которых мальчики учились у церковных дьячков и составляли певческие хоры. Нищие, просившие именем Христовым, являлись тоже некоторым образом учителями христианского благочестия, потому что жалобными причитаниями пели песни нравственного и религиозного содержания и умиляли сердца благочестивых людей. Домашний образ жизни старались тоже согласить с богослужебным порядком, и вот начало того монашеского времяпровождения, которое сохранилось и до сих пор в старых купеческих домах. Вставая от сна, русский тотчас же искал глазами образа, чтобы взглянуть на него и перекреститься, ибо сделать крестное знамение, смотря на образ, считалось гораздо приличнее. В дороге, при ночевке в поле, русский, встав от сна, крестился на восток. Умывшись и одевшись, люди того времени приступали к молению; в праздничный день шли к заутрени и благочестие требовало придти со звоном, до начала службы. В простой день молились дома и богослужение по книге исполнял хозяин. В крестовой комнате или в той, где было больше образов, собиралась вся семья и прислуга, зажигались лампы и свечи и хозяин читал вслух утренние молитвы. Иногда читались целая заутрени и часы. По окончании молитвы свечи тушились, пелены на образах задергивались и каждый обращался к своим домашним занятиям. После ужина совершалось вечернее моление. Снова зажигались свечи и домочадцы и прислуга собирались на моление. Пред господскими праздниками, в воскресенье, среды и пятницы и в посты считалось неприличным спать мужьям вместе с женами. В ночи пред подобными праздниками, благочестивые люди вставали и тайно молились пред образами. Ночная молитва считалась угоднее Богу: «Тогда бо нощию ум ти есть легчае к Богу и могут тя убо на покаяние обратити нощные молитвы паче дневных молеб... и паче дневных молеб приклонит ухо свое Господь в нощные молитвы». Впрочем, некоторые старинные духовные поучения не обязывали супругов удаляться от общего ложа в посты петровские и рождественские. «А в Петрово говение и Филиппово, говорится в этих поучениях, невозбранно мужем с своими женами совокуплятися, разве блюсти среду, пяток и субботу и неделю и господских праздников». После ночи, проведенной супругами вместе, считалось необходимым, прежде чем подойти к образу, сходить в баню. Даже и после омовения набожные люди не отваживались вступать в церковь и стояли перед дверьми храма. Молодежь знала, что это значит, и подсмеивалась.

Аскетический взгляд христианских наставников на женщину имел большое влияние и на семейные нравы. Муж постепенно явился домашним деспотом и семейная равноправность, которою отличались славяне, наконец, совершенно утратилась. Византийский аскетизм, вместе с восточною ревностью, привел к тому, что с женщиной считалось даже предосудительным вести разговор. Женщина считалась существом ниже мужчины и в некоторых случаях даже не чистым. Этот взгляд сохранился в народе даже и до сих пор. Женщине, напр.,

не позволялось резать животное; думали, что мясо его будет невкусное. И до сих пор деревенская женщина не станет резать курицу, а попросит мужчину. Печь просфоры позволялось только старухам. Аскетическое воззрение на женщину выразилось полнее всего в одном старинном поучении, высказывающем следующую мысль: «что есть жена? Сеть утворена, прельщаючи человеки во властех светлым лицом, убо и высокими очими намизаючи, ногами уграючи, дела убиваючи, многы бо уязвивши низложи, тем же в доброте женстей мнози прельщаются и оттого любы яко огни возгараются... Что есть жена? Светым обложница, покоище змиино, диаволь увет, без увета болезнь, поднечающая сковрода, спасаемым соблазн, безисцельная злоба, купница бесовская».

Прежде бывшая свободная жизнь для женщины кончилась. Женщина утратила почти всякое значение в семье и женский пол у знатных и богатых держали взаперти, как в турецких гаремах. Девушек держали в полном уединении. До замужества они не могли видеть мужчин и вопрос о выборе мужа решался безапелляционно родителями. Сделавшись женой, девушка из одного рабства переходила в другое. Она должна была проситься и у мужа, чтобы идти в церковь. Самые благочестивые люди были того мнения, что родительский страх должен быть постоянным над дочерьми и что их следует бить почаще, чтобы они не утратили девства. В основе обращения мужа с женою лежало то же начало. У мужа висела плеть, назначенная исключительно для жены. Иные, впрочем, употребляли розги, а другие палку, и колотить или бить жену называлось учить ее. Кто не бил своей жены, о том благочестивые люди говорили, что он дом свой не строит, и о своей душе не радит, и сам погублен будет и в сем веке и в будущем, и дом свой погубит. Домострой, желавший привести в систему порядок семейных отношений и сообщить им утонченную, по его мнению, гуманность, советует не бить жену кулаком по лицу, по глазам, не бить ее, вообще, железным или деревянным орудием, чтобы не изувечить или не допустить до выкидыша ребенка. Он находит, что бить жену плетью, и разумно и страшно, и больно и здорово. До сих пор в народе есть хороводная игра под названием: «женина любовь». В середину круга из мужчин и женщин становятся двое, изображающие мужа и жену, хороводные ведут круг, а жена отворачивается и пренебрегает его ласками. Хор поет следующую песню:

Посмотрите, добры люди,
Как жена меня молодца не любит,
Душа, сердце мое – ненавидит!
Я пойду в Китай город гуляти,
Молодой жене покупку покупати,
Саму, саму предиковинну юпку,
Саму, саму предиковинну кофту.
Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце;
Ты постой-ка, жена,
Я примерю на тебя,
Я примерю, приложу,

Я на женушку приложу.
Посмотрите, добры люди,
Как жена меня молодца не любит,
Душа, сердце мое – ненавидит!
Я поеду в Китай город гуляти,
Молодой жене покупку покупати,
Саму, саму предиковинну плетку.
Жена моя, женушка,
Сердитое мое сердце;
Ты постой-ка, жена,
Я примерю на тебя,
Я примерю, приложу,
Я на женушку погляжу.
Посмотрите, добры люди,
Как жена меня молодца любит,
Душа, сердце мое – поцелует!

Увидевши, под конец этой песни, в руках мужа кнут, жена начинает обращаться с ним ласковее, а при пении последнего стиха муж и жена целуются. В другой хороводной песне о замужней жизни поется так:

Я пойду, пойду в зеленый сад гулять,
Поищу я молодого соловья,
Ты скажи, скажи мой млад соловей:
Кому воля, кому нет воли гулять?
Молодушкам нет волюшки,
Красным девушкам своя воля гулять.
У молодушки три кручинушки:
Да как первая кручинушка –
Слать пуховую перинушку;
А другая-то кручинушка –
Растворай жена широки ворота;
А как третья-то кручинушка –
Едет, едет мой ревнивый муж домой;
Он везет, везет гостинец дорогой,
Шелкову плетку, гнуто кнутовье,
Да ударит меня меж белых плеч.

Или в одной народной песне поется:

Вот как муж жену любил,
Щепетненько водил
По морозу нагишом,
По крапиве босиком.
Как жена-то мужа любила,
Щепетней того водила,
Щепетней того водила,

В тюрьме место откупила.
В тюрьме место откупила,
Пятьдесят рублей дала.

Мы могли бы привести еще множество других подобных песен, если бы не полагали, что достаточно того, что приведено.

Понятно, почему при подобных отношениях между мужем и женой не могло существовать нравственной связи и почему сложилось в народе много песен, в которых поется и о змее-жене, и о красной девице, от любви к которой сохнет сердце молодца.

Суровость отношений, предписывавшаяся моралистами, как неизбежное условие прочности семейного счастья, проводилась ими последовательно, как принцип вообще семейной жизни. Поэтому чем родители были благочестивее, чем более они были проникнуты учением православия, тем строже они были с своими детьми. «Наказуй отец сына измлада, говорит одно поучение; учи его ранами бояться Бога и творить все доброе, и укоренится в нем страх Божий». Благочестивый автор Домостроя выражается еще точнее: «сына ли имаши – не дошед внити в юности, но сокруши ему ребра; аще бо жезлом биеша его не умрет, но здрав будет: дочь ли имаши – положи на ней грозу свою».

Подобные строгие отношения вели, конечно, только к страху, а не к любви, и способствовали лишь огрубению нравов. Сын, привыкший, чтобы ему сокрушали ребра, сделавшись отцом, в свою очередь сокрушал ребра своим сыновьям. «Лучше, говорит один моралист того времени, иметь у бедра меч без ножен, нежели не женатого сына в своем доме, лучше дома коза, чем взрослая дочь». Да и могло ли все это быть иначе, когда основным принципом, из которого истекало все учение моралиста-аскета, гласил, что жена должна бояться своего мужа.

Рядом с заимствованием своего мировоззрения от Востока и Византии, Русь заимствовала кое-что и от Запада. Заимствование это хотя и носило на себе, по видимому, по преимуществу внешний характер, но вместе с тем оно внесло немалую долю нового и в интеллектуальную жизнь русского человека, а впоследствии было единственным просвещающим началом русской жизни.

Первое наше заимствование от Запада, когда, с крещением Руси и с внутренними усобицами, мы повернули на Восток, ограничивалась тем, что для постройки храмов мы выписывали мастеров от немцев. Лучшие наши церкви того времени были выстроены иностранными художниками. Иностранцы же учили лить нас пушки, готовить зелье, т.е. порох, и явились первыми нашими учителями в ратном деле.

В этих заимствованиях собственно народ как бы не принимал участия, и оно имело по преимуществу официально-правительственный характер. Народ относился к западным иностранцам не только враждебно, но даже с презрением. Западные христиане являлись в понятии русского под одним общим именем немцев. Их считали не крещеными и дружба с ними считалась делом нечестивым. Этого мало. Даже самое прикосновение иностранца считалось осквер-

няющим и когда цари, принимая послов, допускали их к руке, то обмывали затем руки.

Неприязнь к иностранцам поддерживало и питало по преимуществу духовенство, которое, даже в лице своих передовых людей, как напр. , патриарх Никон, выставило самых заклятых противников всего иноземного. Наибольшую ненависть питали мы к католикам; ненависть, которая усилилась в особенности после смутного времени. Простой народ думал, что все нерусское есть дьявольщина, и когда иностранные послы ехали в Москву, то мужики крестились и спешили запирались в свои избы. Только особенно смелые отваживались выходить и смотреть на иноземцев, как на редкое произведение природы. Женщины питали к иностранцам менее враждебные чувства, и для оправдания своих грешных к ним отношений выработали весьма даже остроумное объяснение: «Женщине соблудить с иностранцем, говорили они, простительно: дитя от иностранца родится – крещеное будет; а вот как мужчина с иноверкою согрешит, так дитя будет некрещеное; оно и грешнее: некрещеная вера множится».

Наша ненависть к иностранному создалась исключительно влиянием Византии. Она была тем более непоследовательной, что мы заимствовали от иностранцев не одни их иноземные хитрости. Иностранцы явились первыми нашими наставниками в религиозном рационализме и под их влиянием создались секты, которые зовутся тайными. Стригольничество, хлыстовщина, молоканство, духоборство явились к нам от западных учителей и занесены иностранцами. Положительно известно, что первыми нашими наставниками в этом отношении явились англичане. Немцы, проживавшие в России, точно так же способствовали развитию в народе религиозных понятий протестантского характера.

Если читатель обратит внимание на все факты, приведенные в настоящей главе, и если он обратит внимание на все нами заимствованное с эпохи Петра Великого, то он увидит, что первобытное славянское мировоззрение совершенно переродилось и видоизменилось под влиянием новых знаний и идей, вошедших в Россию и с Востока, и с Юга, и с Запада, и даже с Севера от народов финского племени. Отыскивать в этом усложнившемся мировоззрении органическое, непосредственно созданное самим славянином, становится невозможным. Славянская вера исчезла и заменилась греческой. Греческое суеверие, если и не сменило вполне суеверие славянское, то придало ему новые существенные черты. Прежняя славянская незлобивость переродилась в ненависть к всему иностранному; кроткие семейные отношения добродушных славян переродились в подавляющий семейный деспотизм. Домашний быт народа изменился точно так же; под византийским влиянием, внутренняя и внешняя жизнь русской семьи сделалась совершенно непохожей на патриархальный быт древней славянской семьи. Общественные отношения и формы общественной жизни сложились точно так же под историческим влиянием чуждых нам народностей. Даже самая порода славянина изменилась смешением с чуждыми народностями и племенами. Таким образом, если бы мы вздумали искать теперь чистого славянина по крови, по органически развившемуся мировоззрению, то его найти невозможно. Древний славянин давно исчез и на смену ему явился

новый тип, называемый русским. Русский – это конгломерат всего пережитого, пережитого и заимствованного древним славянином в длинный период его исторической жизни. Поэтому попытка славянофилов создать идеал русского из присущих будто бы ему коренных славянских элементов есть не больше, как наивное неведение условий интеллектуального развития России. Такого русского нет и быть не может. Точно так же ошибочны и фантазии почвенников, мечтавших об органическом развитии. Почвенникам хотелось, чтобы мы развивались сами из себя; но в чем и где наше свое, когда с первых шагов исторической жизни мы находились под чуждыми нам влияниями и развивались под влиянием закона исторической солидарности? С какого момента почва, которой они искали, делается почвой русской, когда подобного момента мы в своей исторической жизни не находим? Если почвенники полагают, что только до-петровская Русь шла органическим порядком, то, после приведенных мною фактов, читателю нужно будет согласиться, что органического в до-петровской Руси так же мало, как и в после-петровской. Разница между тою и другою лишь в том, что до Петра мы развивались под мрачным византийским влиянием, а после Петра обратились к западному свету, ибо византийский мрак завел нас в неисходное болото. Уж не в византийском ли воззрении славянофилы и почвенники усматривали источник живой струи, которая должна была обновить нас? Сами почвенники соглашались, что из прежнего мрака нужно идти к новому свету, и сами же они, по непоследовательности, усиливались в этом мраке отыскать прогрессивную, светлую силу.

Попытка создать теорию органического развития есть не больше как заблуждение людей, незнакомых ни с историей человечества, ни с историей своего отечества. Того органического, которого искали славянофилы и почвенники, переродившиеся в современных руссофилов, в природе нет, и в жизни народов не существует. Даже Китай, оградившийся стеною и кажущийся многим страной самого чистого, беспримесного органического развития, не избежал закона исторической солидарности. Китай точно так же развивался, как и все остальные народы, и если он замкнулся от иностранцев, то только потому, что, сложив свое мировоззрение из мировоззрений разнообразных народностей, вошедших в его состав, и затем, видя неисходное варварство своих соседей, он создал о себе высокое мнение и начал относиться презрительно ко всему не китайскому, которое он считал ниже своего. Только в этом, а не в чем-либо другом, причина, что европейские миссионеры, явившиеся в Китай еще при Кубилай Хане, до сих пор имели самый ничтожный успех и что нынешнее число христиан составляет в Китае не более одного миллиона людей. Один китайский философ нового времени пишет про европейцев: «Отвратительно смотреть, как эти варвары думают переделать жителей Серединной империи, в то время, как они сами до такой жалости несовершенны. Отравляя нас опиумом для того, чтобы разбогатеть на наш счет, они, разумеется, не имеют ни доброжелательства, ни гуманности. Посылая свой флот и свои войска, чтобы отнять от народов их земли, они, конечно, не имеют права претендовать на справедливость и правосудие. Вводя обычай, позволяющий мужчинам публично посещать женское общество, они показывают, что не имеют не малейшего

понятия о приличиях и, отвергая таким образом правила наших древних мудрецов, они, конечно, не представляют доказательств своей рассудительности. Предположим, что они не лишены совершенно искренности; но прежде всего из пяти коренных человеческих добродетелей, они уважают всего только одну и после этого хотят еще учить других. Разве мы не видели, что в то время, когда они тратили огромные суммы денег, чтобы склонять народ на свою сторону, они повергали в прах наши священные книги и таким образом выказали свое презрение к основателям знания? Исполняют ли они, по крайней мере, свои сыновние обязанности, эти так называемые просветители? Нет, они забывают своих родителей, как только те больше не существуют. Они помещают их останки в маленький, непрочный гроб; они не воздают никакого поклонения их памяти, они не приносят никаких жертв на их гробницах. Наконец, они возлагают свои общественные обязанности на богатых и благородных, не подвергая их экзамену, и закрывают таким образом путь к чести скромным достоинствам и талантам. По всему этому они ниже китайцев и неспособны быть их наставниками».

Нельзя не согласиться, что китаец, высказывающий подобные мысли, много рассудительнее и почвенников, и славянофилов, и выродившихся из них руссофилов. Китаец не выводит их из теории органического развития, он истинный прогрессист и готов взять все хорошее там, где его находит. Но ему нужно хорошее, и если он не берет ничего от европейцев, то только потому, что их цивилизация кажется ему менее выгодной, чем его собственная.

Ниши почвенники и руссофилы не то. Они и до сих пор полны ненависти ко западно-иностранному, в которой их воспитали еще до Петра моралисты византийского закала. Они считают органическим только греческое, только допетровское, а не то, что входит к нам другим путем. И на этом воззрении основывают свое учение о почве.

Конечно, все чужеземное и вообще всякое чужеземное влияние, тяготеющее над народом, составляет помеху в его естественном развитии, только при том условии, когда оно отклоняет деятельность народа в сторону не благоприятную этому развитию. В этом направлении и проявилось именно византийское влияние. Но если подобного влияния мы не замечаем, если народ, не возбуждаемый враждебно к иностранцам, берет без стеснения то, что ему полезно, если власть, не задавшись мыслью об опеке, дает народной мысли простор, то толковать об органическом или неорганическом становится просто глупо. Вот почему нашим почвенникам и руссофилам, кроме свободного воззрения цитированного мною китайца, не мешает еще взять урок мудрости у Бокля, который основой естественного развития народов считает отсутствие правительственного покровительства и опеки и невмешательство господствующей церкви.

В этом смысле органическим развитием будет не почвенность, которая не существует и которую отыскать невозможно, а поверка цивилизации, проникавшей к нам из Византии и заведшей нас в болото, – новыми мыслями, приходящими к нам с Запада. Чтобы быть органическими в своем развитии, нам нужно развивать не греко-византийское, допетровское мировоззрение, а, напротив, стать лицом к лицу с Западом и его умом излечивать наросты и язвы, занесен-

ные к нам с Востока. Хорош был бы тот доктор, который не принимал бы никаких мер против золотухи и считал бы ее органическим явлением, достойным развития только потому, что человек с нею родился или страдает ею давно. А разве не так смотрят на органическое развитие России наши славянофилы, почвенники и нынешние руссофилы, ожидающие исцеления от нашего прошлого. Нам нужно идти от него, а они хотят тянуть к нему.

Из фактов, сообщенных мною читателю, мне кажется совершенно ясно, что органическое, в том смысле, как оно понимается у нас большинством, есть в действительности неорганическое, и что стремление славянофилов, почвенников и руссофилов есть не больше, как смутное стремление к национальному обособлению. Этим путем не достигнуть нам ни общественного благополучия, ни сближения с народом. А потому и надо избрать другую дорогу. Какую же?

IV

Если я спрошу, зачем нам нужны исследования народной жизни, то такой вопрос покажется, конечно, странным. И несмотря на то, такой вопрос сделать не только можно, но даже и следует. В самом деле, для чего нам нужно изучение народной жизни? Почему мы с таким интересом читаем все то, что касается быта, верований, и все то, что касается народного мировоззрения? Для чего нам нужно знать, напр., что по ученым исследованиям до-петровских русских людей оказывалось, что человек состоит из восьми частей: сердце от камня, тело от персти, кости от облак, жилы от мглы, кровь от чермного моря, теплота от огня, очи от солнца, дух от святого духа? Зачем нам знать: в кого и как народ веровал, в какие играл он игры, какие пел песни, что он ел и пил, как он жил и бедствовал? Зачем нам знать жизнь старой Руси и мировоззрение современного нам простонародья?

Когда явилось с прошлого столетия стремление к изучению внутренней жизни России, подобными вопросами люди не задавались. Не задавались ими и исследователи нынешнего столетия. Возбуждая исследователей к изучению русского быта, наши передовые люди славянофильско-русского закала действовали не на мысль, а на чувства. Напр., Сахаров, человек достойный всякого уважения, говорит, что правильного исследования русской жизни можно ожидать только от русского. «Ни одни чужеземец не поймет, пишет он, восторгов нашей семейной жизни; они не разогреют его воображения; они не пробудят таких воспоминаний, какими наполняется русская грудь, когда ее быт совершается воочию. В родных напевах, которые так сладко говорят русской душе о родине и предках; в наших сельских думах, которые так умильно вспоминают о горе дедовском; в наших сказках, которые так утешно радуют русских детей; в наших играх, которыми утешается молодежь после тяжких трудов; в наших свадьбах, в которых так резво веселится пылкая душа мужающих поколений; в суеверных поверьях нашего народа, в которых отражается общая мировая жизнь – вмещается вся семейная русская жизнь». Только что же из всего этого? Для чего нам нужно знать восторги нашей семейной жизни? Для чего нам нужно знать о горе дедовском, о суевериях и поверьях? Неужели только для того, чтобы разогреть свое воображение и пробудить воспоминание? Думается мне,

что напротив. Зачем нам восторгаться заблуждениями и ошибками? Зачем нам воспоминания о горе и страданиях? Какая существенная польза для современной жизни от этих восторгов печальным прошлым? Какую извлечем мы для себя выгоду из знания своих заблуждений и ошибок? Таким образом не ставили вопроса наши исследователи старины. Они отдались кропотливому записыванию всего, что попадалось им под руку, сами не зная, что из этого выйдет. Они восторгались так называемую поэтичностью преданий и проникались сентиментальным чувством к своему родному.

А между тем люди, отдавшие изучению народного быта, были люди честные и хорошие. В основе их стремлений лежала верная мысль, но которую они, к сожалению, уяснить себе были не в состоянии. Они чувствовали, что крутой петровский перелом произвел какое-то неблагополучие в русской общественной жизни и разделил Русь на официальную и, так называемую, органически-бытовую. Они не ошибались в том, что в до-петровской Руси было больше свободы народной мысли, а с Петром этот порядок изменился и началось официальное воспитание народа сверху вниз. Но с другой стороны они горько ошибались, ибо видели спасение против после-петровского в до-петровском. Их пугало немецкое вмешательство и они готовы были поклоняться до обоготворения византийскому. В этом вся их ошибка, в этом причина, что теории и учения их не могли иметь прочного успеха и что плодами их исследований воспользуются люди не их мировоззрения, а так называемые западники. Только эти создадут сближение с народом, а вовсе не славянофилы, почвенники и руссофилы; ибо только западники крепки зрелой мыслью, чужды ослепляющей восторженности, чужды смутного чувства, поражающего смутную мысль.

В чем же, в самом деле, заключается сущность органического развития и сближения с народом? Сущность этого заключается в объединении образованных с необразованными, в объединении интересов моральных и материальных тех и других, в дружных соединениях общих усилий к достижению одной общей цели, заключающейся в общем благополучии. Западники не меньше славянофилов тяготеют к народу. Но дело в том, что славянофилы и видоизменившиеся их последователи видят спасение России в чем-то для них непостижимом и смутно-идеальном, а западники, напротив, чувствуя свое родство с массой, чувствуя, что ее страдание есть вместе с тем и их страдание, что ее жизнь есть и их жизнь, хотят устроить объединение не переменной фракции на поддевку, а более прочным и сознательным, общим социально-экономическим развитием и согласованием мировоззрения официальной юридической Руси с мировоззрением Руси бытовой.

Народная Русь живет своею жизнью, совершенно несогласною с жизнью России официальной. У народной Руси свое естествознание, и до сих пор покоящееся на кудесничестве, шаманстве и мистицизме; по народным понятиям, еще и до сих пор земля стоит на трех китах, гром производит Илья пророк, а молния есть каленая стрела. Понятия эти такого рода, что, конечно, и славянофилы не захотят черпать из них свою естественно-познавательную мудрость. Нас тут не спасет ни старая Русь, ни Византия. Научная истина, добытая Западом, есть единственная истина. Поэтому европейское естествознание, как напр.,

химия с своими разветвлениями, физика, механика, математика, астрономия, все промышленные изобретения, все исследования в области науки, можем мы взять только целиком от Запада, а не из Сивиллиных книг, Аристотелевых Врат и Рафлей, составлявших и составляющих единственный источник народных знаний о природе. Сближение с народом на этом пути должно здесь уступить внешнему натиску и внешнему влиянию, и Россия покроеется школами с наукой западно-европейской, пересечется железными дорогами, устроенными по западному образцу, и обзаведется фабриками и мануфактурами западного изобретения. Другого выхода нет. Под этим влиянием Запада, наше сближение с народом совершится не тем путем, что образованные люди наденут мужицкий кафтан, поддевку и сапоги, смазанные дегтем, построят свои дома по крестьянскому образцу и заведут крестьянскую утварь, а, напротив, крестьянин облачится в пальто и заживет с теми же западно-европейскими удобствами, с которыми живут наши образованные люди. Задача сближения в этом направлении не в том, чтобы господину сделаться мужиком, а, напротив, чтобы каждый мужик сделался господином. Достигнуть этого помогут нам лишь социально-экономические теории, выработанные Западом, и западно-европейские положительные знания.

Но есть еще другой порядок понятий, в которых точные знания Запада не окажут нам существенной помощи, – понятий, правильность которых нельзя определить ни математическими формулами, ни химическими комбинациями; это – понятия бытовые.

В своей обычной жизни народ живет, не руководствуясь сводом законов и не имея понятия о законе писанном. Русское простонародье рождается, умирает, женится, покупает, продает, наследует имущество, делает ссуды и займы и, вообще, совершает самые разнообразные гражданские сделки, не зная о том, как трактует о них закон писанный. Нынешний наш простолюдин живет в этом отношении точно так же, как славянин времен Гостомысла, – совершенно так же действует он в сфере уголовной. И здесь он творит свой суд и расправу, не справляясь с законами, а наказывает и прощает по внутреннему убеждению, по собственным воззрениям, по сущности того или иного проступка или преступления.

Приглядываясь к народной жизни, подумаешь, что законы существуют у нас для людей Руси официальной и образованной. Только эта Русь не знает обычая и во всех гражданских делах следует и должна следовать установленным законам. Что же касается народа, то ему даже самим законом дозволяется поступать во многих случаях с отступлением от установленных законом норм и правил, которое никогда не прощается людям образованным официальной Руси.

Из этого бы можно заключить, что юридические понятия, выработанные народом и неведомые своду законов, должны заключать в себе лишь мрак неведения и византийскую смутность понятий, которых закон не знает и знать не хочет. Закон, как результат продолжительной разработки вопросов гражданского быта, есть как бы квинт-эссенция нашей юридической мудрости. То же, что стоит вне закона и им не признано, должно бы считаться недостойным занять место в среде его. Но в действительности это не так; мудр и закон, мудра и

народная мудрость – одно другому не мешает. Есть даже случаи, когда мудрость народную следует поставить выше и когда она служит для проверки закона.

Юридическая выработка законов официальной Руси совершалась не всегда органическим бытовым путем. Вместе с заимствованиями учреждений других народов берутся их формы и усваиваются их юридические понятия. Этим путем зашло к нам много чуждых нам элементов из римского права и установлений, выработанных Западом. Одни из них привились, других не мог привить даже и самый суровый закон. Так, майорат, который хотел ввести у нас Петр I, чрез полстолетия пришлось отменить, потому что вся Россия поголовно исполнять закона не хотела и нельзя было принудить ее повиноваться.

Проверка этих чуждых элементов бытовыми установлениями русского народа должна составлять первый шаг к примирению Руси официальной с Русью народной. Зачем существует эта двойственность? Если миллионы людей живут, управляясь бытовыми юридическими установлениями и не прибегая к посредству закона писанного, то очевидно, что эти установления хороши, удовлетворяют народ вполне и делают ненужными для него всякие другие установления и формы. Нет причины предполагать, чтобы то, что хорошо для миллионов, не годилось бы и для меньшинства, стоящего как бы особняком от народных понятий и, таким образом, добровольно отделяющегося от массы и ее народной мудрости. Наше сближение с народом поэтому должно заключаться в том, чтобы свои юридические воззрения, сложившиеся под влиянием римского права и византийским, согласовать с юридическими понятиями народа и проверить ими. Зачем бы хорошее из народной мудрости не усвоить нам себе, когда мы, люди образованные, не могли выдумать лучшего? Зачем бы то, что дает большой простор свободе и развитию личности, выработанное народом, не усвоить бы нам себе, а то, что по нашим ученым понятиям способствует больше подобному развитию, не сообщить народу? Сделав подобное согласование, мы бы не знали юридического дуализма и вся Русь жила бы общею юридическою жизнью и руководствовалась бы одними юридическими принципами. Теперь же не то. Теперь образованные люди потому только и составляют нечто отдельное от народа, что живут своими юридическими воззрениями, а он своими.

Исследование народных юридических обычаев началось почти одновременно с исследованиями народного быта. Вопросом этим занимались многие очень почтенные люди, например, Макаров, Снигерев, Тарновский, Редкин и в последнее время обратило на них внимание даже министерство государственных имуществ и императорское русское географическое общество. К сожалению, все эти исследования не привели ни к каким заметно полезным результатам и собраны весьма недостаточные, отрывочные материалы. Русское географическое общество, видя неуспех разрозненного, одиночного собирания материалов, а между тем придавая им большую важность, составило в минувшем году программу для собирания народных юридических обычаев и, разослав ее в губернские статистические комитеты, просила заняться собиранием сведений. Какую же важность придает географическое общество народным юридическим обычаям

ям? Если они будут собираться с тою же мыслью, с какою собирались сведения о народных обычаях исследователями славянофильского закала, в таком случае в результате, кроме патриотических восторгов, не получится ничего. Это не значит быть людьми жизни и творить историю. Нам нужно знать свое прошлое только ради его пользы для настоящего и будущего; а если существенной практической пользы извлекать из него мы не хотим, то оно нам и не нужно. А другой цели, кроме этой, и быть не может. Если в вопросах естествознания мы потянем народ к себе, то в вопросах юридических и экономических должны сами подойти к нему. Не нужно пугаться, что некоторые народные воззрения не будут согласны с нашими, они несомненно хороши, ибо народ живет ими с X века; мы же со своими цивилизованными понятиями – только с Петра I.

У меня нет достаточных данных, чтобы представить читателю довольно полную картину народных юридических воззрений. Все, что у меня есть под руками и что можно достать в той местности, где я живу, ограничивается одной программой географического общества. Но и тех сведений, которые помещены в программе, будет достаточно, чтобы показать читателю всю важность трактуемого в настоящей статье вопроса. Я буду пользоваться этим материалом только частью, по вопросам преимущественной важности и более существенным. Начну с народного семейственного права.

Для вступления в брак законом определены известные степени родства и свойства, в пределах которых брак допускается. Но в некоторых местностях условие это соблюдается гораздо строже, чем предписано законом. Так, например, в шадринском уезде пермской губ. лица считаются родными и величают друг друга сватами, сватьями, когда по закону нет между ними никакого родства и можно было бы завести новое. А между тем ни один родитель не решится дать благословение сыну на женитьбу, если невеста предполагается в каком-нибудь самом отдаленном и часто воображаемом родстве с женихом. Крестьяне убеждены, что малейшее нарушение этого правила накличет несчастье на всю семейную жизнь новобрачных. Поэтому многие не вступают в браки в своих селениях, а ищут невест на стороне. Подобное же замечено и в некоторых других губерниях. В России есть много селений, жители которых, происходя от одного родоначальника, носят одну фамилию и где вступать однофамильцам в брак считается грехом.

Но зато есть и такие местности, где замечается совершенно обратное отношение к закону, и это по преимуществу у раскольников. В Сибири у инородцев брат может жениться на жене умершего брата или на второй жене отца, отпущенной им от себя. В остзейских губерниях, где браки по лютеранскому закону дозволены между двоюродными братьями и сестрами, родной дядя часто женился на своей племяннице, но племянник никогда не женился на родной тетке. По местным понятиям крестьян, даже православных, можно жениться на сестре жены своего брата.

Относительно разницы в возрасте женищихся, крестьянский быт представляет особенность, нашим образованным людям неизвестную. В том же шадринском уезде ведется у крестьян обычай выбирать для вступающего в первый брак невесту старше его четырьмя и даже пятью годами. От этого девушки,

достигшие уже совершеннолетия, обыкновенно долго не выходят замуж и позволяют себе отношения к мужчинам, которых при другом условии им дозволять не приходилось бы. В остзейских губерниях очень часто жена бывает двадцатью годами старше своего мужа и вдовы выходят обыкновенно замуж чрез два или три месяца после смерти супруга. Обычай этот, по-видимому, изобличающий женское легкомыслие, в действительности доказывает более практический взгляд, чем неутешность вдов образованного сословия. Крестьянке вдове нужен хозяин, а иначе хозяйство ее расстроится. Вот почему, по смерти своего мужа, она торопится приискать себе другого хозяина. Вообще, в простонародьи брак есть учреждение по преимуществу экономическое. Супруги не столько муж и жена, сколько хозяин и хозяйка. От этого, в большинстве случаев, как только мужчины и женщины достигают брачного совершеннолетия, их женят, и вот почему в крестьянских браках не существует такой резкой разницы супругов, как в браках людей образованных, у которых, по крайней мере до сих пор, брак считается учреждением по преимуществу усадительным.

Закон говорит, что запрещается вступать в брак без дозволения родителей, опекунов или попечителей. А между тем есть местности, где женятся, не спрашивая согласия родителей. В архангельской губернии таких самовольно-брачующихся зовут самоходками или самокрутками. Впрочем, общим правилом следует принять строгую зависимость в этом отношении от воли родителей. В остзейских губерниях сын никогда не женится без воли родителей; хозяин, сын которого задумал жениться, приглашает к себе старших родных и приятелей, и тут общим миром обсуживают вопрос: в состоянии ли жених содержать жену, или же избранная им невеста может обеспечить своего будущего мужа? Если по экономическим соображениям брак считается возможным, то отец дает свое согласие. Так как в крестьянском быту браки есть учреждение по преимуществу экономическое, то в некоторых местностях, например, в остзейских губерниях, сложился обычай брать невесту на пробу. Девушка, взятая на пробу, подвергается ей недели две или месяц. В это время она должна убедить своего будущего мужа, что способна умно и толково вести хозяйство, умеет стряпать и печь и, вообще, способна к крестьянской работе.

В случае неудачной пробы брак расстраивается и девушка уходит домой. Не удовлетворившей требованиям жениха неудача эта общественным мнением не ставится в укор. Но если во время пробы девушка забеременит, то ребенка обязан взять к себе отец; он должен его воспитать и усыновить как законного.

Пред совершением браков с людьми образованными заключаются обыкновенно, на основании закона, рядные записи и закон говорит о приданом, которое приносит жена мужу. Народ смотрит на это дело несколько иначе: родители жениха и невесты толкуют о том, что даст невеста и что даст жених. Так, в шадринском уезде, когда свадьба совершается не убогом, невеста требует от женихова отца *запрос*, от трех до тридцати рублей. На эти деньги она покупает подарки для ближайших родных жениха. В лукояновском уезде отцы жениха и невесты условливаются, сколько невеста должна получить от жениха *вкладу*, т. е. денег и верхнего платья. В мологском уезде жених платит за невесту так

называемый *вывод* и на эти деньги отец невесты устраивает пир для будущей своей родни. В старобельском уезде приданого за невестой не берут, а, напротив, жених при сватании дает невесте на наряды от трех до десяти руб. сер. Сговор, свершающийся в доме невесты, справляется тоже на счет жениха. Свадьба тоже делается на его счет. Впрочем, есть местности и такого рода, где выговаривается, что невеста должна внести в дом. Обыкновенно девушкам в приданое дается одно движимое имущество: корова, овца, новая шуба и т. д. Но как некоторые невесты бывают так бедны, что ничего хорошего нового завести себе не в состоянии, то шуба, кафтан и даже сапоги к венцу даются им от жениха. В народе большею частью богатые женихи ищут себе богатых невест и, чтобы бедной выйти за богатого, нужно отличаться какими-нибудь особенными достоинствами или необычайной красотой. Но чтобы богатые невесты шли за бедных женихов, этого почти никогда не бывает.

Брачный договор считается заключенным, когда состоялось рукобитие и местами, как, например, у белорусских крестьян, внешним актом согласия служат так называемые *запоины*. У белорусских же католиков с того момента, когда состоялось согласие, жених и невеста становятся как бы супругами с тою только разницею, что до венца невеста должна жить у родителей. С этих пор жениха зовут молодым, а невесту молодою. В день договора невеста приготовляет свою постель в амбаре или в каком-нибудь чулане и в то время, когда гости пьют, жених и невеста уходят спать. От самого дня заручин или договора жених посещает свою невесту каждую ночь или еще и чаще и приносит для нее с собой гостинцы. Если случится жениху придти к невесте довольно рано вечером, мать невесты потчует его и при этом как ему, так и своей дочери внушает правила нравственности и целомудрия. Конечно, мать очень хорошо знает, что она лукавит, потому что и сама девушкой также принимала своего жениха втихомолку в амбаре.

Относительно имущества, вносимого женой в семью, существует вообще обычай, что оно переходит к мужу, а если он женится в другой раз, то к новой жене. Если же от первой жены остались дети, то оно хранится для детей. Правило это большею частью не соблюдается уже вследствие одного свойства имущества, так как оно движимое и заключается обыкновенно в носильном платье.

В отношении прочности семейного союза простой народ отличается теми же воззрениями, как и люди образованные. Если жене тошно жить от своего мужа, то она уходит от него к своим родным и уносит с собою свое имущество. О разводах в крестьянском быту не слышно; но например, в остзейских губерниях, супруги недовольные друг другом расходятся не иначе, как обратившись за советом к своему пастору.

Народ вообще смотрит на семейный союз не с тем оттенком религиозного благочестия, какого требует церковь и закон, а понимает супружество как союз почти исключительно экономический: он видит в нем простое сочетание рабочих сил. Поэтому рядом с духовным браком, признаваемым законом, встречается в народе простое сожительство, т. е. мужчина и женщина сходятся вместе и живут как бы обвенчанные. Такое простое сожительство замечается не в

крестьянском быту, а по преимуществу между городскими жителями и из них между отставными солдатами. Подобное сожителство составляет не легкомысленную связь, а, напротив, очень прочный и нежный союз, на который народ смотрит совершенно безразлично, не бросая укоров в женщину и не обвиняя ее в безнравственности.

Имущественные отношения супругов и детей основаны в большинстве случаев на принципе равноправности. В остзейских губ. имущество принадлежит нераздельно мужу и жене; дети от первого брака – законные наследники; дети от второго имеют право только на ту часть, какую внес в семью их родитель. В Сибири дети, по смерти родителей, делят имущество поровну, но дом есть собственность младшего сына. Приемьши в остзейских губ., хотя и не пользуются никаким правом на наследство, когда есть законные дети, но отец или мать могут отдать им все, что захотят, и это называется дать *от доброго сердца*.

Раздел имущества между детьми зависит совершенно от воли родителей, если бы дети вздумали отделиться. По народному обычаю отделяться могут только женатые дети. Разделы этого рода происходят обыкновенно вследствие несогласия женщин. Члены, выделившиеся из семьи, обзаводятся самостоятельным хозяйством и утрачивают всякую экономическую связь с семьей, из которой они выделились. Хотя разделы в крестьянском быту встречаются довольно часто, но на них следует смотреть все-таки как на исключение. Это потому, что крестьянская семья, все-таки, экономическая единица, сильная своим большинством. Раздел есть экономическая гибель семьи, начало бедности всех, что народ знает очень хорошо. Поэтому более умные и стойкие отцы решительно не позволяют своим женатым детям брести врозь и держат свою семью в полном составе. Нередко и после смерти родителей женатые братья живут вместе общим хозяйством и главенство вверяется старшему брату, большаку. Такого явления в быту образованных людей мы не замечаем. У образованных женившиеся выделяются немедленно из семьи, чтобы жить самостоятельно; ибо экономические основы образованной семьи совсем не те, на каких покоится семья крестьянская. В Эстляндии разделов нет, но отец, когда состарится и чувствует себя не в состоянии управлять хозяйством, передает его старшему сыну; если же у него замужняя дочь, то зятю. Вообще, престарелые родители остаются в семье и, не будучи в состоянии заниматься полевыми работами, занимаются домашними безделушками, ездят в город для продажи произведений семьи; а если слишком стары, то доживают свой век, лежа на печи или греясь на солнце. И в этом случае воззрение народа на семью гораздо социальнее и экономичнее, чем воззрения людей образованных. В быту людей образованных самая обыкновенная вещь, что престарелая мать или отец живут от своих женатых детей отдельно и не пользуются от них никакой поддержкой. В образованной семье преобладает принцип индивидуализма; в ней вполне применим известный афоризм, что любовь есть эгоизм вдвоем. У нас каждый сын получает свое отдельное воспитание и избирает свое отдельное поприще. В семье, где положим четыре сына, одного воспитывают гусаром, другого пехотинцем, третьего чиновником, четвертого технологом и все они прямо со школьной скамьи ползут врозь, не чувствуют, да и не имеют никакой солидарности интересов, разбре-

дутся по всем концам России, переженятся и составят отдельные особняки, вечно нуждающиеся, вечно бедные. Принцип экономического индивидуализма является руководящим началом этих неразумных и неразвитых людей. Об общении имущества они не имеют ровно никакого понятия и основывают свои расчеты исключительно на размере личной экономической производительности. Вот причина, почему к образованным людям так туго прививаются прогрессивные экономические понятия и почему они не в состоянии усвоить той простой мысли, что в общем деле успех его зависит от дружной совокупности усилий и что малая сила, столь же необходимая для общего успеха дела, имеет право на равное вознаграждение.

Экономическая своеобразность народного воззрения выражается еще в общинном начале, применяемом нашим народом, за немногими исключениями, лишь к земле. Общинное землевладение возбуждало у нас много толков за и против. Люди, недостаточно знакомые с экономической наукой в современном ее развитии и воспитанные в принципе индивидуализма, восстают еще и до сих пор против общинного землевладения. Нет никакого сомнения, что люди этого воззрения, системой попечительства и вмешательства, могут воспитать народ в своем экономическом принципе и привить народу ошибочный взгляд на сущность общинного экономического устройства; но в таком случае народ пойдет не вперед, а назад; не за наукой, а от науки. Не стесняемый же искусственным вмешательством народ направится к рациональному развитию своего экономического общинного воззрения, т. е. тем же самым выводам, к которым приближается теперь и западно-европейское население.

В этом отношении весьма любопытное явление составляет секта *общих*. По их учению, осуществленному практически, каждая слобода составляет особую общину. Дома для жителей строятся миром. Имущество движимое и недвижимое принадлежит безраздельно всему братскому обществу. В каждой слободе одна общая касса, одно общее стадо, одно общее скотоводство и полеводство. В каждой слободе учреждены общие училища, в которые родители, принадлежащие к общине, обязаны отдавать своих детей. Слободы управляются выборными чинами, которым вверяется вся распорядительная, хозяйственная, учебная, судебная и нравственно-воспитательная части.

Относясь к экономическим и юридическим понятиям нашего народа с строго-критической точки зрения, нельзя не заметить, что в большинстве случаев в них недостает социального элемента, т.е. строгой последовательной выработки и того обобщения, в которых именно и заключается сила всякого мировоззрения, возвышающегося только этим путем до степени твердого народного убеждения.

Поэтому согласование отдельных народных представлений, имеющих отрывочный и специально местный характер, и возведение их в общий принцип всей страны, требует весьма подробных исследований народных мировоззрений, большой подготовительной работы и еще большей работы для сформирования из отдельных воззрений одного обще-русского принципа.

Почему же подобное слияние не совершилось до сих пор и почему не замечаем даже и попыток для его осуществления? Или народное воззрение так зло-

вредно, что грозит гибелью России? Но на это мы ответим, что народ живет десять веков и не учинил никакой беды и никакой гибели ни для одной из тех коренных основ, на которых покоится государство. В чем же, следовательно, нужно искать причину обособления наших образованных сословий, в то же время тяготеющих к народу? В чем причина того, что наши лучшие люди, с самого пробуждения в них национального сознания, стремились к соединению с народом и усиленно мечтали слиться с ним? Единственная причина в том, что до сих пор мы занимались только одними мечтами, что мы тяготеем к народу одним воображением и никогда не задавали себе серьезного вопроса о том, в чем должна заключаться практическая сущность этого движения.

Программа, мною предлагаемая, конечно, очень обширна, требует громадной подготовительной работы и еще больше последовательного труда; но размер труда не есть единственный масштаб для оценки качества мысли. Железную дорогу построить гораздо труднее, чем сравнять только рытвины старого пути да наложить бревна в топких местах. И несмотря на то, мы все-таки строим железные дороги.

Что предлагаемая мною мысль не есть только недостижимый идеал, читатель может убедиться из того, что географическое общество разослало программу в губернские статистические комитеты для собирания народных юридических обычаев. Что затем географическое общество думает сделать с этим материалом, – я не знаю, но не нужно быть пророком, чтобы предвидеть успех этого собирания. Статистические комитеты напечатают программу в губернских ведомостях, обратятся с просьбою к сельским священникам и знающим людям о доставлении им требуемых сведений, священники и знающие люди никаких им сведений не доставят, и на этом дело остановится.

Но в жизни оно остановиться не может. Слияние верхов с низами, интеллигенции с народом, не есть пустая мечта. Слияние это есть неустранимый исторический закон, оно есть путь нашего прогресса, основа того «русского слова», с которыми мы, как культурный народ, должны занять свое место среди других культурных народов и работать вместе с ними в интересах общечеловеческого прогресса.

И слияние это может свершиться только путем соглашения основных принципов, руководящих жизнью народа, с принципами жизни интеллигенции.

Мы, интеллигенция, представители индивидуализма, народ – представитель коллективизма. Мы изображаем собою личное Я, народ Я общественное.

В сущности это два полюса противоположных мировоззрений, которые должны быть исследованы, изучены, установлены и затем соглашены, как общий, основной и единый руководящий общественный принцип.

Интеллигенция стоит, пока, еще в недоразумении даже перед своим бытовым и общественно-политическим мировоззрением, не уведовав еще, где лежит ее собственная, интеллигентно-общественная правда. Понятно, что о народной правде интеллигенции и сам Бог не велел не знать ничего.

То, что славянофилы, почвенники и их продолжатели толковали о народной душе, народной правде и русском всечеловеке, несомненно очень благородный идеал, на котором стоит построить русскую общественную жизнь; но подро-

ности этого идеала создадутся не смутными сердечными порывами, не чувством, а исследованием выработанных народом и интеллигенцией общественных и бытовых понятий, и тех равноправных и именно всечеловеческих основ народного коллективизма, который чужд еще интеллигенции, вырабатывающей, пока, достоинство личности.

Август 1868 г.

Сочинения, изд. 1891 г., т.1.

ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Н. К. Михайловский

От редакции

Николай Константинович Михайловский родился в 1842 году в бедной дворянской семье. Он учился в Горном корпусе, но не окончил курса. Его обширное образование было приобретено самостоятельным трудом. С 18 лет он начал печататься в разных журналах и до самой смерти (в 1904 году) оставался неутомимым тружеником печати: его Полное собрание сочинений, вышедшее перед революцией, составило десять огромных томов. В 1867 году Михайловский перевёл «Французскую демократию» Прудона. Через два года он начал сотрудничать в «Отечественных записках» Некрасова и вскоре стал там главным критиком: в России критики были руководителями общественного мнения, заменяя собой политическую деятельность. С 1869 до закрытия журнала в 1884 году он был одним из трёх его редакторов, вместе с Салтыковым и Елисеевым. В этом журнале были напечатаны его знаменитые статьи на общественные темы: «Что такое прогресс», «Теория Дарвина и общественная наука», «Что такое счастье», «Борьба за индивидуальность», «Герои и толпа». Там же появились литературно-критические статьи о Толстом («Десница и шуйца графа Л. Толстого») и о Достоевском («Жестокий талант»). В дальнейшем он продолжал работать в «Северном вестнике», «Русской мысли», а в девяностые годы возглавил знаменитый журнал «Русское богатство».

Михайловский стал, после Писарева, «властителем умов» русской публики. Его часто трактовали как популяризатора радикальных идей, что он делал с редким литературным талантом. Но теперь можно видеть его подлинное значение, не сводящееся к исполнению общественного долга – чему он посвятил все свои силы. Михайловский был глубокий социолог и философ, не уступающий в этих областях никому из русских авторов, кроме Герцена, и во многом опередивший популярные в то время зарубежные теории. В советское время его не переиздавали и замалчивали, потому что он считался идеологом народников – или даже партии эсеров, возникшей уже в самом конце его жизни.

В самом деле, наряду с подцензурной работой Михайловский участвовал, под псевдонимами, в нелегальных публикациях «Народной воли»: в журнале, носившем имя этой партии, он печатал свои «Политические письма социалиста» и поддерживал конспиративные связи с Верой Фигнер даже после царубийства первого марта. Эта его деятельность оставалась в тайне до самой революции. Но, конечно, Михайловский не нес ответственности за политику эсеров и вряд ли был бы доволен их практикой. И уж во всяком случае он не сочувствовал марксистам, видя слабости их доктрины. На рубеже 20-го века Михайловский был самым видным мыслителем русской интеллигенции.

После смерти Писарева его последователи проповедовали, по существу, индивидуализм – личное совершенствование и отход от общественной деятельности. Они доводили до абсурда «разрушение эстетики», то есть отрицание значения искусства, составлявшее слабую сторону писаревского наследия, и злоупотребляли идеей «борьбы за существование», неправомерно применяя к человеческому обществу идеи естественного отбора. Михайловский энергично воспротивился этим построениям. Сохраняя уважение к самому Писареву, он критиковал крайности его концепций в отношении искусства.

Михайловский смело выступил против модного в то время «социал-дарвинизма», объяснявшего общественные конфликты «борьбой за существование». Признавая значение эволюционной теории Дарвина, он был одним из первых, кто понял недопустимость прямого переноса её идей на человеческое общество и пренебрежения культурной традицией. Можно думать, что это понимал и сам Дарвин, сохранявший осторожность в отношении человека, но его влиятельные последователи, такие, как Эрнст Геккель и даже Томас Гексли, допускали в этом серьезные ошибки. По существу, Михайловский правильно оценил роль социального инстинкта, названного им (в применении к человеку) «кооперацией». Этот инстинкт, также открытый Дарвином, был тогда понят очень немногими, в особенности выдающимся натуралистом П. А. Кропоткиным.

Другим извращением биологии было злоупотребление так называемым «законом Бера». Социологи того времени сопоставляли разделение труда в человеческом обществе с дифференциацией функций органов в теле животного, считая в обоих случаях специализацию признаком «прогресса». Михайловский решительно возражал против этого построения, низводившего человека до роли простого «органа» общественного организма. Он подчёркивал двойственный характер развития общества, создающего специалистов всё более узкой квалификации за счёт подавления их человеческого потенциала.

Михайловский понял бессмысленность буржуазного критерия «прогресса», сводящегося к количественному приращению производства и жертвующего всем качественным богатством человеческой жизни. Его борьба за высокий тип человека, против мещанского вырождения стимулов человеческого поведения, особенно актуальна в наши дни, когда расширение производства стало единственной мерой общественного успеха.

Поскольку работы Михайловского практически недоступны нашему читателю, мы будем помещать важнейшие из них в дальнейших публикациях нашей Библиотеки.

Помещаемая ниже статья Михайловского (под псевдонимом «Протасов») содержит слово «интеллигенция», ранее не являвшееся в печати, но, очевидно, уже общеизвестное в русском обществе. Эта статья – не из важных его работ: это фельетон, почти забытый жанр литературы, использующий непринадлежный разговор для внушения читателю серьёзных идей.

При чтении этой статьи читатели привычно воспринимали двойной ход мыслей автора, угадывая его намёки. Не все они поддаются расшифровке,

потому что происшествия 1868 года нам не всегда известны. Но такая расшифровка и не нужна, потому что из контекста ясно, какие люди и какие события имеются в виду. Все эти комические персонажи и ситуации нынешний фельетонист мог бы повторить, подставив знакомые нам имена и обстоятельства – или незнакомые, если мы мало читаем газеты. В других случаях автор просто использует все эти детали как предлог, чтобы сказать что-нибудь более важное. Ясно, например, что пародия на провинциальный театр нужна автору для других целей. Цензор может верить или не верить, что речь идёт о плохой пьесе жалкого сочинителя, но читатель понимает, что будка, куда надо сажать совсем другого человека, это вовсе не будка суфлёра, что умирает от чахотки не воображаемая героиня пьесы, и так далее. Солнце равнодушно светит на виселицу и на плывущие по Неве трупы; непонятно, где кончается русская жизнь и где начинается жизнь бухарская и самаркандская, и так далее. Все эти мелочи создают настроение. А затем следует сцена в поезде, с контрастом патриотической болтовни газет и пьяной песни сдаваемого в солдаты наёмника – гениальная сцена, вставленная в невинную рамку фельетона. Вы видите перед собой художественный способ изложения запретной темы, вызывающий и в наши дни столь же острое ощущение правды, как в то далекое время. А потом автор принимается за очередной роман неутомимого беллетриста Боборыкина (того самого, кто приписывал себе изобретение слова «интеллигенция»). В этой поистине сюрреалистической критике высмеивается сам автор романа, пытающийся высмеять своего жалкого героя. Нам уже незачем знать, кто стоит за героем и о чём хлопочет романист. И через весь фельетон проходит слово «интеллигенция»: оно вошло в моду, все хотят казаться интеллигентами. Теперь у нас ещё больше интеллигентов, принимающих себя всерьёз.

Н. К. Михайловский

ОЧЕРКИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Письма об русской интеллигенции

Письмо I

Составляя часть русской интеллигенции, я, как и большая часть моих соотечественников по литературному ремеслу, пишу главным образом для русской интеллигенции. Правда, что некоторые газеты наши перекликаются даже с императором французов; правда и то, что г. Ситенский-Селявин издаёт книжки для народа, а ни император французов, ни народ наш в состав русской интеллигенции не входят. Но это не более, как блестящие исключения. В сущности же все мы пишем для самих себя, т. е. для русской интеллигенции, а я ещё кроме того собираюсь писать об этой самой интеллигенции, об ней одной. Таким образом я надеюсь заслужить то расположение русской интеллигенции, которого не удостоиваются писатели, трактующие о предметах, к русской интеллигенции никакого отношения не имеющих. Но писать о русской

интеллигенции, – не находите ли вы, что это слишком узкая программа? Не полагаете ли вы, что русская интеллигенция, по микроскопичности своих размеров, может представить только скудный материал для разработки? Если смотреть на этот вопрос с общей точки зрения, то вы пожалуй и правы, но... Но позвольте мне сообщить вам те поучительные размышления, которым я имел случай недавно предаваться.

Я был в одном провинциальном театре. Театр величиною так с небольшой сарай. Освещается стеариновыми огарками. В партере сидели большею частью господа офицеры и время от времени побрякивали саблями. В ложах помещался целый цветник дам и девиц, и слезы висели на длинных дамских ресницах. А слезы висели потому, что на сцене шел «Гражданский брак» г. Чернявского. Я и сам не плакал только потому, что очень уж смешно было, а главное – некоторые особенности провинциальной постановки знаменитой комедии навели меня на нижеследующие размышления. Роль жертвы нигилизма исполняла актриса, отличавшаяся замечательною округлостью бюста и полнотою рук; тем не менее она, к немалому удивлению публики, следуя предписанию г. Чернявского, в последнем действии умерла в чахотке. Актёр, изображавший молодого Новосельского, был очень похож на лакея, почти так же, как актёр, исполнявший роль лакея Алёшки, был похож на барина. Импольский, долженствующий разбудить своим криком Новосельского, простудил вероятно горло и вследствие этого кричал так, что не разбудил даже партера. Тем не менее, Новосельский, не зная по всей вероятности о болезни своего друга и принимая за его голос пронзительный крик суфлёра, проснулся. Если бы я был распорядителем труппы, я бы сделал следующую перетасовку. Роскошную жертву нигилизма я заставил бы толковать о рутине, а сухопарую Дах-Реден уморил бы в чахотке, суфлёра заставил бы будить партер и Новосельского, а Импольского упрятал бы в будку на место суфлёра; Алёшку усадил бы в кресло, а Новосельского поставил бы перед ним с руками по швам. Коемуждо по делам его. Комедия г. Чернявского много бы выиграла от этих перемещений...

Здесь мысли мои от комедии г. Чернявского перенеслись к великой жизненной трагикомедии. Что, думал я, если бы и там всё было так устроено, чтобы сразу было видно, кто лакей и кто барин, кто суфлирует и кто сам от себя говорить; что, если бы в чахотке умирали только те, кому Бог велел, а в будку сажали бы тех, кто действительно такой штуки стоит; что, если бы всякий сверчок знал свой шесток? Вдумывались ли вы когда-нибудь в смысл или, лучше сказать, в бессмыслие зоологической видовой клички человека – homo sapiens? Как вам кажется, – по шерсти она? Что до меня касается, то я вижу гораздо больше смысла в астрологическом поверьи, по которому головою человека управляет знак Овна (в просторечии барана). В этом-то печальном обстоятельстве я и вижу причину того, что в чахотке умирают и в будку бывают сажаемы не те, кому это подобает. Здесь же следует искать объяснения и таким фактам, что какой-нибудь господин, имел на плечах голову, управляемую знаком Овна, третирует, например, Овэна как овна, а себя считает представителем вида homo sapiens и причисляет к интеллигенции. Гейне

говорит где-то в «Reisebilder», что восточные народы принимают безумных за пророков, а западные – наоборот – пророков за безумных. Во всяком случае роли, значит, перемешаны. Мы – народ полуевропейский, полуазиатский (а до продажи северо-американских владений были ещё немного и американский), и потому у нас по отношению к интеллигенции идет такая кутерьма, что не разберёт и лучший из обер-полицмейстеров. Это запутанное дело распутается только тогда, когда всякий сверчок свой шесток знать будет, а до тех пор приходится считать интеллигенцией всё то, что само себя признает таковою. Теперь вы видите, что тема моя даже очень широка, ибо кто в нашем обширном отечестве от Перми до Тавриды, от Финских хладных скал до пламенной Колхиды не считает себя интеллигенцией. Мужик не считает, ну я об нём и не буду говорить, разве только мимоходом, если к слову придётся, для сравнения. А затем посмотрим: литератор, чиновник, адвокат, актёр, околоточный надзиратель, артист, духовное лицо, – всё это несомненная интеллигенция. Всякая Перепетуя Епистратовна мнит себя причастною к интеллигенции, «потому как она дама образованная». А уж если человек знаком с Персией по персидскому порошку, с Англией по английской соли и с Францией по французской болезни, то интеллигенция его не подлежит ничьим сомнениям. Кажется, Наполеон говорил: «поскоблите русского и обрящете казака, поскоблите казака и обрящете медведя». Теперь к этому изречению следует ещё прибавить такой хвостик: «поскоблите медведя и обрящете интеллигенцию». И потому я боюсь даже, что моя программа слишком широка, но не отступлюсь от неё. Я знаю, что теперь в ходу узкие панталоны, узкие головы и узкие программы, но я имею некоторое основание бояться узких программ. В этом случае я, как карлик, взбираюсь на плечи великана, г. Случевского, и вижу следующее... Да вы может быть думаете, что я говорю о том великане, которого показывают в Пассаже? Нет, я не знаю, как зовут этого великого человека. Г. же Случевский есть представитель одной из отраслей русской интеллигенции, именно литературы, и в Пассаже его, к сожалению, не показывают. Итак, я взбираюсь на г. Случевского и вижу следующее. Сочинитель этот издал несколько брошюр под общим заглавием: «Явления русской жизни под критикой эстетики», имевших по его собственным словам *un succes de silence*³. Вы находите, что заглавие не совсем грамотно? Я с вами не стану спорить, тем более, что тут дело не в заглавии, а в том, что г. Случевский на себе испытал неудобство усадить все явления русской жизни «под критику эстетики». Т. е. он-то, может быть, и не чувствует этого неудобства, но со стороны оно очень ясно видно. Поучаемый сим чужим опытом, я не обещаю вам подводить русскую интеллигенцию и представителей её под критику эстетики или этики или политики, вообще не обязуюсь предстать пред вами в модных узких панталонах. Что хорошего, если они вдруг публично лопнут. С г. Случевским, например, вот какой казус случился. Желая взять под критику эстетики явления исключительно русской жизни, этот остроумный и глубокомысленный, но непредусмотрительный сочинитель за-

³ Успех умолчания (фр.). – Примеч. ред.

нял ровно половину своей первой громоносной брошюры рассуждениями о Прудоне. Я понимаю, что, принимая в соображение неопределённость наших границ на юго-востоке, довольно трудно решить, где кончается жизнь русская и где начинается жизнь бухарская и самаркандская, но решительно недоумеваю, каким образом в число явлений русской жизни мог попасть Прудон. Оно конечно, Прудон издавал «La voix du peuple», а одним из представителей русской интеллигенции, именно г. Юркевичем-Литвиновым, издавался тоже «Народный Голос», но ведь это ещё не резон. Может быть, г. Случевский и смешал эти два органа, но я склонен думать, что дело было не так и что г. Случевский просто сшил себе слишком узкие панталоны. Не желая попадать в подобный просак, я заранее объявляю, что не буду говорить ни об императоре французов, ни о Прудоне, но зато в области русской интеллигенции уподоблюсь солнцу, благодушно освещающему и согревающему и столбы высокие, и последнюю былинку, и всякого пса смердящего. Но я не претендую на объективность солнца. Солнце что? Сидите вы, например, с своей подругой жизни, и натянутые нежные струны вашей души звенят про ваше счастье: солнце обольёт вас своими золотыми лучами, точно и в самом деле радуется вашей радости. А и врёт, вовсе и не радуется: завтра подруга жизни уже не подруга жизни, а оно всё так же бесстрастно и глупо светит, именно глупо. Вздёрнут человека на виселицу, задрыгает он ногами, а оно опять светит. Плыёт по широкой Неве посинелый труп, «предавшийся высокой степени гнилости», как выражаются «Полицейские Ведомости», редактируемые ныне известным представителем русской интеллигенции и русских путешественников по Северу и Востоку, г. С. Максимовым; плывет он (не г. Максимов, а труп) мимо кафе шантана, в котором русская интеллигенция изучает точки соприкосновения цивилизации и сифилизации, – солнце одинаково усердно золотит и труп и весёлую интеллигенцию. А желал бы я быть солнцем. Смотреть без злобы и удивления, без омерзения и ропота, без слёз и смеха, как мимо тебя проходят, ломаясь, кувыркаясь и спотыкаясь, нестройные ряды русской интеллигенции, – это завидная доля. Но не всякому дан такой дар. Нет, я буду смеяться и плакать, любить и ненавидеть, я буду жить в своих письмах об русской интеллигенции. Я начну с классификации.

Вы вероятно помните старый анекдот о начале Руси. Тогдашние представители интеллигенции, вожди и князья славянские дрались, дрались, да и додрались до того, что, по совету старика Гостомысла, обратились к Варягам: «земля, дескать, наша велика и обильна, да порядка в ней нет, – придите княжить и владеть нами». Итак, тогдашняя интеллигенция была вся согласна в том, что 1) Русь велика, 2) Русь обильна и 3) в Руси порядка нет. Но с течением времени эти три пункта послужили точками исхода для дифференцирования русской интеллигенции. В настоящую минуту эта интеллигенция распадается по отношению к этим вопросам на множество отделов. Некоторый публицист называет их «фракциями» и насчитывает таковых фракций три: «крайнюю правую», «крайнюю левую» и «центр», но очевидно, что все эти фракции выдуманы публицистом, как немцем выдумана обезьяна. Никаких русских фракций нет, а есть русская разноголосица. Я полагаю, что не най-

дется двух представителей русской интеллигенции, которые были бы согласны между собою относительно вышеприведенных трёх пунктов. Одни утверждают, что Русь слишком велика; другие доказывают, что не мешало бы к ней прикинуть ещё три-четыре губернии, напр. Пражскую, Белградскую и Львовскую. Одни предполагают, что слова славянских послов к Варягам относительно обилия Руси до сих пор справедливы; другие находят, что обилие это давно уже отошло в область прошедшего, и вам вероятно ещё памятно недавнее пререкание о факте существования голода в России. Наконец последний пункт – порядок в России – представляет самый обильный источник несогласия. Одна часть интеллигенции предполагает, что порядка в России никогда не было и нет; другая – что он всегда был и есть; третья – что он был до 19 февраля 1861 года, но что теперь его нет; четвертая – что он есть теперь, но что его не было до 19 февраля; пятая – что он был до реформы Петра Великого и исчез с появлением её; шестая – что он родился вместе с этой именно реформой; седьмая... Тьфу, чёрт возьми, извольте-ка тут классифицировать! Нет уж, я лучше вместо классификации расскажу вам что-нибудь о своём недавнем вояже внутрь России.

На вояж этот я был соблазнён газетными известиями в роде того, что «в Тмутаракани вырос замечательных размеров и красоты лимон»; или: «мгновенное превращение еловых шишек в лимоны, замеченное в одно прекрасное сентябрьское утро обитателями Непроходимой волости, наполнило сердца их радостью»; или: «поселяне наши весьма быстро привыкают ко вкусу лимонов, которыми снабжает их местная интеллигенция»; или: «обширные лимонные рощи, насаждённые заботливостью местной высшей интеллигенции, привлекают под свою прохладную тень толпы благодарных сограждан» и т. д. Начитавшись подобных заявлений, я почувствовал непреодолимое стремление *dahin, dahin, wo die Zitronen blühen*⁴. Вздумано, сделано. Еду в один из уголков нашего обширного отечества; сначала по железной дороге, потом по шоссе, потом просёлком, при чём осязательно, своими боками убеждаюсь в нелепости отрицания дуализма человеческой природы, ибо дорогой мне вытрясло всю душу и в уголок приехало одно только моё брненное тело. Сейчас разумеется за лимоны.

Где, говорю, у вас тут лимонные рощи?

– Вот-с, пожалуйста. – Да ведь это береза? хоть сейчас банных веников и розог из неё наделать можно. – Помилуйте-с. Оно с виду точно-что на березу смахивает, и простым глазом пожалуй что и не отличишь, а тут нужно духовное зрение.

Так как я растерял дорогой душу со всеми её атрибутами и духовного зрения у меня не оказалась, то я лимонных рощ и не видал в уголке. Правда, там пьют в приятном обществе чай с лимонами, но лимоны эти привозные, как я узнал из достоверных источников. Еду назад; сначала проселками, потом по шоссе, потом по железной дороге. В вагоне, мне Бог послал превеселого соседа. Это был молодой парень с сдвинутой на затылок бараньей шап-

⁴ Туда, туда, где цветут лимоны (нем.). Из стихотворения Гете «Миньон». – *Примеч. ред.*

кой, почти идиотским выражением лица и с гармоникой в руках. Парень всю дорогу безостановочно играл и пел. Возле него сидел седобородый мужик. Он видимо ухаживал за парнем и как-то тревожно следил за всеми его движениями. На каждой станции они выходили вместе, и парень возвращался все веселее и веселее, а старик становился все тревожнее. Я узнал, что парень был охотник и что старик вез его сдавать за сына в рекруты.

*Государь ты наш Си-идор Карныч,
Куды мы без тебя-я пойдём?*

заунывно запел парень.

– Эх ты, Вася, какую затянул! сдержанно остановил его старик.

– А чем не песня? Барин знакомый выучил, – отозвался охотник и опять затянул, подыгрывая на гармонике:

*Государь ты наш Си-идор Карныч,
Куды мы без тебя-я пойдём?
По миру, бабушка,
По миру, Пахомовна...*

– Газет, господа, не угодно никому? – предложил, войдя в вагон, кондуктор.

Я взял несколько номеров и стал читать. Попалась передовая статья такого приблизительно содержания: «Да пронесется орел русский над Дунаем! Русская земля грудью станет за своих братьев»...

*Государь ты наш Си-идор Карныч,
По миру ходить о-чинь холодно.
В лапотках, бабушка,
В лапотках, Пахомовна...*

«Славяне, читаю я далее, с надеждой смотрят на северного колосса и ждут не дождутся, когда он явится разбить своей мощной рукой их вековые цепи». А охотник все вытягивает:

*Государь ты наш Си-идор Карныч,
По миру ходить о-очинь боязно.
С палочкой, бабушка,
С палочкой, Пахомовна...*

– Перестань, Вася, что за душу тянешь! опять остановил певца старик, – спой другую какую.

– А другую, так другую, – согласился парень и запел плясовую:

*Полюбил меня солдатик молодой,
Подарил он мне червончик золотой.
Мне червончика не хочется,
А солдата любить хочется.*

– Знай наших! – заключил охотник и как-то тупо рассмеялся, оглядывая соседей. И странное дело: на том месте газеты, где была помещена передовая

статья о полете русского орла над Дунаем, мне вдруг представился огромный клякс. В кляксе этом вырезались затем широкие скулы, идиотские глаза, шапка, заломленная на затылок, и из-под этого клякса я не мог дочитать воинственную статью, – так и бросил....

Зачем я вам рассказал это? право, не знаю, вспомнилось. Может быть вы и сумеете пришить это куда следует. Но во всяком случае я с прискорбием замечаю, что в моем первом фельетоне (ибо я фельетонист) нет никакой системы. Поэтому, задаю себе задачу: представить несколько типов русской интеллигенции. Первым типом будет литератор сороковых годов, чистый художник. Я выбираю его по многим причинам, из которых, на первом месте стоит моя любовь к русской литературе. Очень я люблю русскую литературу, до такой степени люблю, что все естественные, неестественные и сверхъестественные явления стремлюсь объяснить явлениями русской литературы. Напр. у одного моего приятеля ни с того ни с сего на лице вдруг показалось множество угрей. Он теряется в догадках, а для меня ясно, как божий день, что угри эти порождены чтением романа г. Бобарыкина «Жертва вечерняя». Или, напр., назвал при мне один барин Петербург «мокроглазым». Я нахожу, что это довольно остроумно: Петербургское небо вечно плачет или собирается плакать. Об чем? Отчего? Оттого так горько, так неустанно плачет петербургское небо, что под ним слишком много вздору печатается, что много глупейших книг издается с надписью «С-Петербург, такого-то года»; оттого, что в газетах под рубрикой «С.-Петербург, такого-то числа» очень уже много несообразностей излагается. И обидно Петербургскому небу, что ему такую массу глупостей своей персоной прикрывать приходится. Вот как я объясняю происхождение петербургских дождей и туманов и оттого так объясняю, что русскую литературу люблю. Мысль об ней не покидает меня ни на минуту. Вижу ли я в Туляковских банях на головах банщиков красные шапочки вроде тех, какие носили якобинцы, я думаю не о странной судьбе этого головного убора, а об русской литературе. Сижу ли я в Народном театре Берга и вижу, как выбивается из сил на своей деревяшке одноногий испанский танцор Донато, – я думаю не об исполняемых им хореографических трудностях и даже не о бедной, далекой родине бедного танцора; нет, я вспоминаю русскую литературу и мысленно провожу параллель между нею и одноногим танцором. Вижу ли младенца, занимающегося пусканием мыльных пузырей, – я опять-таки не о чем другом, как о русской литературе помышляю. На дворе дворник дрова рубит, а мне чудится, что г. Полонский свою «Ночь в Летнем Саду» вслух читает. И странные бывают со мной ошибки. Загалдят, закаркают вдруг вороны, а я будто наших публицистов и критиков читаю и наоборот – публицистов и критиков мне случается за ворон принимать. При таком моем пристрастии к русской литературе, что мудреного, что и начинаю свой обзор типов русской интеллигенции с литератора. Я думаю заняться этим предметом всесторонне. Притом же, русский литератор несомненно стоит во главе русской интеллигенции. С него значит и начнем. Выбираю же я для первого раза литератора сороковых годов и чистого художника потому, что в выше-

упомянутом романе г. Бобарыкина «Жертва вечерняя» нашелся для разработки этого типа прекрасный материал.

Роман г. Бобарыкина написан в форме дневника одной очень странной женщины. Она вдова, богата (пятнадцать тысяч годового дохода), барыня светская, красивая и, как отзываются об ней действующие лица романа, очень умная. Светскость ее выражается главным образом в том, что она ежеминутно признается в своем незнании русского языка. Тем не менее дневник ее написан так, что дай Бог всем русским публицистам так писать. Барыне скучно, она бросается и на канкан в Михайловском театре и на нравственную философию, и стремится изучать быт камелий. Наталкивается она наконец на некоего представителя русской интеллигенции, Домбровича. Он-то и есть искомый тип. Домбрович, по его собственным словам, «делает книги, как сапожник делает башмаки». Его «сверстники и собраты все теперь разбрелись по белу свету и по Елисейским полям: один в Испании, другой в дебрях... там где-то на Ветлуге, третий в Бадене, четвертый отправился к прародителям»; «а в сороковых годах, продолжает Домбрович, мы ни больше ни меньше, как составляли всю русскую словесность. Мы только и работали».

Для характеристики Домбровича я прошу у вас позволения выписать страницу из дневника Марьи Михайловны (так зовут героиню).

– Видите-ли, Марья Михайловна, мы теперь попали в дураки. Если бы вы послушали кого-нибудь из новых... мы только болваны. Никаким вопросам мы не сочувствуем, переплетных заведений не заводим и не можем мы никак понять, что такое делается в российской литературе? Я помню, как мы все начинали свою жизнь. Мы не мудрствовали, не разрушали основ, да-с, это такое теперь специальное занятие! Мы обожали искусство. Вера была, огонь, оттого и таланты появлялись... Да вот и теперь еще на старости лет, возьмешь какую-нибудь сцену... Сганареля что-ли Мольеровского, и хохочешь себе как малое дитя; пред картиной, пред барельефом, пред маленьким антиком простаивали мы по целым часам. Каждую точку, каждый штрих изучали мы с благоговением, да-с, с благоговением! Есть такой немец, Куглер, написал богатую книгу... просто библия для всех, кто изучает красоту... Но впрочем, что ж это я вам какую чушь рассказываю? Хоть на месте уснуть!

– Напротив, напротив! остановила я, все это меня ужасно интересует.

– Коли интересует, извольте. Так вот этого самого Куглера мы наизусть зазубрили и каждую строчку на себе проверяли. Я помню, как я написал первую повесть, страх на меня напал, сомнение. Держал я ее полтора года. А нынче, как семинариста выгонят за великовозрастие...

– За что? переспросила я.

– За великовозрастие, когда его вытянет с коломенскую версту, а он все еще в риторике (!) пребывает. Он сейчас передовые статьи писать. Глядишь, через полгода на него уж все молятся... а мы имели такую глупость: чувствовали священный страх перед печатным словом. Первые-то деньги совестно было и получать. Потом, уж с летами, понемногу мирились с этим. Вот мы какие были глупые. Как же вы желаете, чтобы мы сошлись с этими... анахар-

сисами (я так их называю). Мне скучно, я глуп, я ничего не понимаю во всех этих реализмах, социализмах, нигилизмах и разных других измах. Все это мертвая болтовня! Талантишку ни в одном на булавочную головку. Что ж, и прикажете в мои-то лета поступать в обучение к анахарсисам? Нет-с, забыть следует, что они и существуют! Что такое писатель, поэт, позвольте вас спросить?

Он нагнулся всем корпусом ко мне, точно будто хотел вырвать из меня ответ.

– Я не знаю, проговорила я тоном маленькой девочки.

– А вот что-с. Художник, артист во всем одинаков. Скульптор какой-нибудь или живописец бьется из-за того, чтоб у него фигура вышла живая, чтоб ее можно было схватить, осязать, чтоб вы видели, как в ней кровь переливается. Больше ничего-с. Точно то же самое и писатель. Клади краски, схватывай жизнь просто, «не мудрствуя лукаво». Чтоб каждое слово было звучно, как нота в аккорде. А нынче нет-с, не так. Нынче повести сочиняются по такому рецепту: на ободранном диване лежит нигилист Синеоков. На столе стоит графин с водкой. Взад и вперед по комнате ходит друг Синеокова Доброзраков, потрясая гривой. Грива должна быть непременно. Синеоков выпил уже пять рюмок и говорит: «пьянство есть порок: но мой организм требует импульса». «Да, отвечает Доброзраков, запуская пальцы в гриву, организм прежде всего. Но не подлежит ли он также отрицанию?» «Что ж, восклицает Синеоков, давай отрицать и организм». И на шестидесяти двух страницах друг Доброзраков занимается на утеху читателей отрицанием организма друга Синеокова.

Домбрович одушевился. И так он смешно представлял Доброзракова и Синеокова, что я хохотала как сумасшедшая. Если б Домбрович не был сочинитель, он мог бы сделаться прекраснейшим актером. Он вовсе не гримасничает, не шаржирует, а выходит ужасно смешно.

– Повесть ли, роман ли, рассказ ли, заговорил Домбрович уже серьезным тоном, должны быть написаны с детской простотой, да-с, без всяких тенденций там, прогрессивных идей и всего этого дешевого товару. Тот не писатель, Марья Михайловна, т. е. я хотел сказать – не артист, кто вперед думает, что я дескать вот докажу то-то, размягчу сердца, взяточников обличу и подействую на гражданские чувства, *les sentiments civiques*. Это слово нынче каждый гимназист первого класса знает. На русском *чистом* диалекте это называется *цивические мотивы*.

– Послушайте однако, мсье Домбрович, перебила я, – я с вами спорить не стану, для меня все это ново, что вы говорите. Но когда я читаю роман, для меня интересно видеть; что хочет доказать автор? какая у него идея? Ведь без этого нельзя же.

– Все должно придти само собой, продолжал он еще горячее. Я на своем веку довольно марал бумаги. Но как я сделался писателем? Приехал я в деревню, предо мной природа. Не любить ее нельзя. Кругом живые люди. Стал я их полегоньку описывать. Так попросту, без затей; как живут, как говорят,

как любят. Все, что покрасивее, поцветнее, пооригинальнее, то разумеется и шло на бумагу. А больше у меня никакой и заботы не было.

– Позвольте, перебила я опять, я помню очень хорошо, что девушкой читала ваши повести.

Он молча поклонился.

– И я, как говорится, в три ручья плакала... уж теперь простите меня, я не вспомню подробностей, но идея... сочувствие ваше к бедняку растрогало меня. И я не хочу верить, чтобы вы написали все это *так*... без всякой цели!

– Клянусь вам Богом, Марья Михайловна... Меня ведь до смерти смешили разные критические статьи о моей особе. Чего-чего только не навязывали мне! И высокие гражданские чувства, и скорбь за меньшую братию, и дальновидные социальные соображения, просто курам на смех. Господа Доброзраковы и Синеоковы теперь меня презирают. А ведь им бы нужно было сопричислить меня к лику своих начетчиков.

– Что такое? переспросила я.

– Это у раскольников законоучители так называются. Помилуйте, давно ли я был чуть не революционер, давно ли все кричали, что мои повести, так сказать, предтеча разных общественных землетрясений? И ничего-то у меня такого в помышлении даже не было. Какое мне дело, пахнут мои вещи цинизмом, или не пахнут, возбуждают они мизерикордию⁵ или не возбуждают? Я этого знать не хочу!

Тут я начала чувствовать, что в тоне Домбровича послышалось раздражение. Или он притворился, или он говорил не совсем хорошие вещи Я остановила его.

– Позвольте, позвольте. Если вы добрый человек, вам вовсе не все равно, какое впечатление делают ваши повести... служат ли они доброму, или дурному делу?

– Добрая моя Марья Михайловна (он так и сказал: добрая моя), вы совершенно правы; но вы меня не так поняли. Когда художник, писатель или живописец – все равно, творит... простите за это громкое и глупое слово, он не должен думать ни о добре, ни о зле... он будет непременно пред чем-нибудь лакействовать, если пожелает что-нибудь такое «выставлять», как говорят в тамбовской губернии. Он будет хлопотать не о том, чтобы вещь была живая, а о том, чтобы понравиться господину Доброзракову или Синеокову. За примером я далеко не пойду. Милейший наш Иван Сергеевич Тургенев. Конечно изволили читать его повести?

– Читала, ответила я, а сама хорошенько не знаю, что я читала из Тургенева.

Желаю ему прожить Мафусаилов век, напишет он еще, может быть, тридцать, сорок томов. А что останется, что переживет его? Одна вещь, и только одна: «Записки Охотника». Остальное, все эти вот тенденции, разные «Накануне», «Отцы и Дети», все это ухнет. Огромный талант его тут употреблен на то... знаете, как один француз сказал, после представления новой пьесы:

⁵ От фр. *miséricorde*, сострадание. – *Примеч. ред.*

«L'auteur mit beaucoup de talent à mal prouver des choses auxquelles il croit peu»⁶. Все это баловство, модничество, угождение и тем, и другими, и третьим, чтоб и в салонах вас похвалили, и чтоб г. Доброзраков одобрил или чтоб наш брат – nous autres ganaches⁷ восхитились, бесспорно, прелестными подробностями!

Простите мне эту длинную выписку. Я тем более должен за нее просить прощения, что рассуждения Домбровича отнюдь не новы и вам не раз и не два случалось встречать их и в печати, и в разговорах, и именно в том же «Всемирном Труде». Но именно это-то обстоятельство для меня и важно. Вы полагаете без сомнения, что такой милый сердцу «Всемирного Труда» субъект, как Домбрович, являясь в помянутом журнале, и льва Немейского поразит, и Авгиевы конюшни очистит, словом, совершит все Геркулесовы подвиги и возложит на главу свою весь лавровый лист, какой только найдется в петербургских мелочных лавочках. Ничуть не бывало. Домбрович оказывается негодяем и развратником, и, надо отдать справедливость г. Бобарыкину, он мастерски сделал свое дело. Этот самый Домбрович, который «без Куглера ни единого дня не может продышать», для которого «весь Париж в двух зданиях: Лувр и Musée de Cluny»⁸, этот самый эстетик pur sang⁹ держит, например, у себя библиотеку, как он сам говорит, «классических» сочинений по части клубнички, в роде «Les liaisons amoureuses»¹⁰ и «Mon noviciat»¹¹, и просвещает ими героиню. Любопытно было бы знать, удостоилась ли знаменитая повесть г. Авенариуса чести попасть в число «классиков». Далее Домбрович, завязавши с Марьей Михайловной благородную интрижку, вводит ее в вечера á la regence¹², задуманные им самим. С этих пор дневник Марьи Михайловны превращается уже в ночник, ибо в нем описываются преимущественно веселые ночи á la régence. Остальные участники этих ночей состоят из трех светских дам и одной танцовщицы и при них соответственного количества кавалеров, – «моншер с машерью», как не совсем изящно выражается Домбрович. На вечерах этих пьют шампанское, поют, канканируют, пишут акrostихи «на разные неприличные слова» и время от времени уходят попарно в отдельные комнаты. Все это описано у г. Бобарыкина очень обстоятельно, и всему этому голова все тот же Домбрович. Наконец этими милыми фолишонами¹³ затевается костюмированный вечер. Костюмы следующие. Танцовщица была одета «баядеркой в тигровой коже и с венком из виноградных листьев. Я (героиня) ее упросила надеть как можно меньше тюник, как в Париже»... (Многоточие в подлиннике). Сама Марья Михайловна была в греческом костюме: «руки все обнажены, с широкими браслетами под самые мышки, тюника и perlum полупрозрачный. Одно плечо совсем открыто, с бо-

⁶ «Автор употребляет много таланта, плохо доказывая то, во что он мало верит» (фр.). – Примеч. ред.

⁷ Мы, тупицы (фр.). – Примеч. ред.

⁸ «Музей Клюни» (фр.). – Примеч. ред.

⁹ Чистокровный (фр.). – Примеч. ред.

¹⁰ «Любовные связи» (фр.). – Примеч. ред.

¹¹ «Мой первый опыт» (фр.). – Примеч. ред.

¹² В стиле регентства (фр.). – Примеч. ред.

¹³ Дуралеями (фр.). – Примеч. ред.

ку разрез до колена». Из других костюмов поучительны: мужские – дикаря и Бахуса и женский – «маркизы с таким лифом, какой носили при Людовике XV». Начинается такая свирепая оргия, что даже набившая руку героиня чувствует себя не в силах обстоятельно записать ее в свой ночник: ни в сказке, значит, не сказать, ни пером не написать. Оргия прерывается неожиданным появлением нового лица, не посвященного в таинства фолишонов. Вслед за этим, интересующий нас тип – Домбрович уходит на задний план, и ночник героини опять превращается в дневник. Г. Бобарыкин, устами одного из действующих лиц, произносит породе Домбровичей такой приговор:

«Не та беда, что Домбрович и люди его сорта не понимают молодых стремлений и клеветают на них, не та беда, что они не обучались естественным наукам; но они развратники и лжецы. Они развратники и как частные люди, и как общественные деятели, потому что никаких основ у них не было и нет, кроме совершенно внешних увлечений таланта и праздного ума, лжецы они опять-таки вдвойне: в домашней жизни и пред глазами всего общества. Лгать для них такая же потребность, как для теперешней генерации добиваться правды. В этом они, если хочешь, не виноваты. Все их умственное и душевное воспитание вышло из красивой увлекательной лжи. Домбровичу теперь вероятно лет сорок пять. Он – человек сороковых годов. Их образцы доживают теперь свой век во Франции. Видел я их, вблизи: они написали много талантливых вещей, но все-таки весь свой век лгали и теперь лгут, Высочайших эгоистов ты встретишь в их среде. Эгоизм доведен у них до художественности, до целой системы. Эту систему г. Домбрович тебе преподавал очень старательно, сколько нужно было для твоей светской жизни. Узнай раз навсегда, Маша, что для этих художников, как они себя называют, выше красного словца, т. е. рисовки, ничего быть не может. Если б весь мир превратить в большое обойное заведение, в декоративный балаган, эти господа были бы прекрасные драпировщики. У них бы люди, идеи, чувства, страсти, страдания пошли на всякие фигуры, кариатиды, занавески и драпировки».

Таковы люди, бросающие комьями грязи в непонятные для них явления новой жизни. Когда Христос предложил евреям забросать камнями блудницу, ни один из них не решился бросить камень первым, потому что у всех у них лежали на совести более или менее тяжеловесные грешки. А у этих новых фарисеев ложь до того въелась в плоть и кровь, что они нагло тычут пальцами во всякую соломинку, не замечая бревна в своем собственном глазу. Но наступит наконец время, когда кто-нибудь соберет эти бревна и построит из них такой монумент, который переживет все талантливейшие произведения этих пресловутых художников. К нему не зарастет народная тропа.» И как подумаешь, что одно из таких бревен положено г. Бобарыкиным чрез посредство «Всемирного Труда»... Я просто руками развел, когда прочитал «Жертву Вечернюю». И не потому я развел руками, что роман г. Бобарыкина уж очень пикантен. Правда, что автор перещеголял даже Венеру Медицейскую, которая все-таки стремится прикрыть руками некоторые части своего грешного тела. Но затем, во всем романе нет до сих пор ни од-

ной ноты, которая звучала бы в лад со всем оркестром «*Всемирного Труда*». «*Поветрие*» г. Авенариуса, критики и публицисты «*Всемирного Труда*» ставятся, так сказать, вверх дном помощью «*Жертвы Вечерней*»... Чудные дела делаются в среде русской интеллигенции, и даже странно говорить об ее классификации. Пикантный рассказ г. Бобарыкина есть сама действительность. Мне рассказывали об одном молодом человеке, который, попав в общество этих самых литераторов сороковых годов, просто в ужас пришел от того, чего он наслушался в несколько часов. А в публику эти господа являются, умастив главу свою елеем, и весь свет готовы залить потоками своего гражданского негодования, или всенародно преклоняться пред «чистой красотой». Но Бог с ними, с этими нарумяненными и набеленными публичными мужчинами. Их пора прошла или проходит, изолгались они до того, что им ни на грош не верят. Но они оставили по себе в русской жизни след более глубокий, чем обыкновенно думают.

Я могу похвастаться довольно коротким знакомством с наиболее выдающимися пунктами русской интеллигенции. Я знаю весь тот невообразимый сумбур, который там царствует, и потому мне просто смешно, когда при мне говорят о русских либералах и консерваторах. Я не знаю ни одного сотрудника «Литературной библиотеки», который не решился бы толкнуться в двери возрожденных «Отечественных Записок» с попыткой решить самые жизненные и жгучие современные вопросы, и кажется, что может быть общего у «Литературной Библиотеки» с новыми «Отечественными Записками». Есть очень рьяные обличители дикости современных нравов, за которых тем не менее я, на основании очень полновесных фактов, не поручусь, что они не начнут вдруг плюходействовать, – а сатире с кулачной расправой, кажется, трудно бы ужиться. Я нисколько не изумлюсь, если завзятый друг народа изобьет рабочего, – я присмотрелся к той каше, которая именуется русской интеллигенцией. И, Боже, что это за нелепая, позорная каша! Страшно и приступить к ней. Но стыдно сказать, а утаить грех. Я попробую приподнять только один какой-нибудь уголок занавеси. Роман г. Бобарыкина наводит меня на мысль о так называемом женском вопросе.

Об интеллигенции сороковых годов говорить нечего, – она вся в романе г. Бобарыкина, за что нельзя не сказать ему самого искреннего спасибо. Люди сороковых годов дошли до Геркулесовых столбов клубничества тем же путем, каким и древние греки добрались до педерастии: они обожали красоту, одну красоту в самом узком смысле этого слова, и ничего кроме этой красоты у них не было заветного. Но это был только высший, казовый слой русской интеллигенции. Бок о бок с Домбровичами, умеющими облекать свою формулу жизни в изящную оболочку, существовали люди, которые, под эгидой крепостного права и бюрократической мощи, пользовались приятностями обычного *juris primaе noctis*¹⁴, не давали прохода ни одной юбке, словом развратничали напропалую. Этим не было никакого дела до эстетических теорий жизни, они просто практиковали. В таком положении стояло дело, ко-

¹⁴ Права первой ночи (лат.). – Примеч. ред.

гда наступили памятные пятидесятые и в особенности шестидесятые года. Поднялись длинной вереницей вопросы за вопросами, мы стали тормозить свое прошедшее, и вылезли на свет божий из этого безобразного мешка и всякие гадости. Женский вопрос был поднят единовременно с практическим отрицанием крепостного права и административного всемогущества и с теоретическим (и потому беспощадным часто до нелепости) отрицанием эстетических теорий. Заговорили о правах женщины на труд, на знание, на положение ее в обществе и семействе, указывали на безобразие существующих отношений между мужчиной и женщиной. Явились нигилисты и нигилистки. И так как собственно политическая сфера представляет у нас очень скользкий и тернистый путь, то практически нигилизм занялся главным образом разрешением вопросов семейной жизни. Но не одно только отсутствие или неудобство политической деятельности поставило нигилизм в такое положение. Здесь замешались и предания клубничизма. Я не берусь на этот раз разобрать все стороны этого сложного и запутанного дела. Я хочу только обратить ваше внимание на одно явление. Старая Россия не могла естественно вдруг преобразиться. Но нашлись такие представители ее, которые, будучи насквозь пропитаны духом доброго старого времени, нашли тем не менее в нарождающихся, новых, недостаточно выработанных теориях жизни кое-какие элементы, пригодные для своей позорной эксплуатации. Такими элементами были, между прочим, идея свободы чувств и теория наслаждения (утилитаризм). При добром желании можно все на свете испакостить. Это повело к самым прискорбным результатам.

Что такое нигилизм, нигилист, нигилистка? Коллекция ответов на эти вопросы была бы очень любопытна. Я думал даже одно время завести у себя тетрадь и каждого навещающего меня приятеля обязать вписывать в нее свое определение нигилизма. Дело это не состоялось, но тем не менее мне удалось собрать несколько чрезвычайно любопытных взглядов на нигилизм и нигилистов. Нигилистка – стриженная девка, нигилист – космач, и следовательно нигилизм – отрасль парикмахерского искусства, – это уже старо. Нигилист – чиновник, служащий в Западном Крае, – это газета «Весть» уже давно доказывает. То ли еще попадает, как куры во щи, в нигилизм. Я недавно слышал, что губернатор одной из южных губерний высылает из своей резиденции в качестве нигилистов – купцов, едущих на богомолье в Иерусалим и самым мирным образом купующих и куплю-деющих. А то вот еще любопытный ответ на вопрос: что такое нигилистка? Был у меня приятель, и приятель этот, по подозрению в политической неблагонадежности, должен был предаться на некоторое время размышлениям в уединении. Дело было после несчастного 4-го апреля, когда на женщин с короткими волосами чуть не плевали на улицах. В судьбе моего приятеля, человека ни в чем неповинного, принимал почему-то большое участие один полицейский офицер. Он все осведомлялся, что не знакомы ли де Иван Иванович с нигилистами и особенно с нигилистками. – Помилуйте, говорят ему, да что это за звери такие особенные – нигилистки? – А вот те, что с мужчинами даром знакомство водят! – отвечал благодушный полицейский офицер. Недавно, говорят, разбиралось у одного из

петербургских мировых судей такого рода дело: две «гуляющие мамзели» жаловались на свою квартирную хозяйку за то, что она их «обругала нигилистками»!..

Что же это такое наконец? И кто в этом безобразии виноват? О, русская интеллигенция! Если бы в тебе было хоть на грош силы и следовательно смелости, если бы ты не истаскалась и не разменялась на гривенники, – этого бы не было. Русская интеллигенция бессильна, и потому ей приходится лгать, чтобы показаться сильною. Она бессильна, и потому заботится не о качестве, а о количестве своих членов. Кто бы ни явился в качестве охотника в так называемый либеральный лагерь, русская интеллигенция кричит: «лоб!», если только рекрут соглашается говорить то, что говорится в лагере. А до того, что этот рекрут, под прикрытием своих либеральных фраз, совершает, до этого никому и дела нет. Точно сборы Хлестакова в дорогу: «что там, – веревочка? Тащи сюда и веревочку. В дороге, брат, все пригодится». И точно ведь в самом деле в какой-нибудь далекий путь собираются, а между тем преспокойно себе на месте топчутся. Над знаменитым афоризмом – «можно быть честным писателем, не будучи честным человеком» – глумились многие из тех, кому следовало бы в таких случаях из приличия держать язык на привязи. Многие, по-видимому основательно, рассуждают так: какое мне дело до дел человека, когда он говорит то же самое, что и я. Но основательность такого рассуждения сильно колеблется фактами. Посмотрите, как подогреты либеральные возгласы и каким холодом веет от самых патетических словоизвержений русской интеллигенции. «Твои глаза холодны, на тебе нет помазания», говорил Робеспьер Барнаву. И то же самое можно сказать, за малыми исключениями, почти всей русской интеллигенции, и либеральничающей, и ретроградствующей. Может ли рассчитывать сделать что-нибудь партия, которая отделяет слово от дела; и может ли быть искренним и произвести желаемое впечатление слово, за которым прячется фактически отрицающее его дело? И взгляните, например, на всероссийских либералов. Они готовы поедом съесть своего бывшего товарища, сделавшегося редактором «Полицейских Ведомостей», и не стыдятся того, что идут рука об руку с другим товарищем, бьющим рабочих. Чем один из них хуже другого? А тем, что последний – друг народа, извольте ли видеть, и продолжает «говорить то же самое, что говорил прежде», т. е. продолжает лицемерить и напускает на себя либерализм. Да что же он может сказать дорогого для дела? Разве Христос не разгадал Иудина поцелуя? Плохо дело партии, ищущей такой опоры. Такая терпимость, результат бессилия, ведет только к тому, что к честному делу пристегнулось множество глупцов и негодяев, умеющих обтачивать известным образом фразы. Нашего полку прибыло, рассуждает «фракция» и ликует, а не видит того, что общество не слепо, что шила в мешке не утаишь и что прикосновение глупцов и негодяев грязнит дело, душит его. И это к сожалению не априористическое рассуждение, которое может оказаться ошибочным. Нет, у нас перед глазами факты в роде вышеприведенных определений нигилизма.

В том самом «Всемирном Труде», который ныне устами г. Бобарыкина обличает Домбровичей, с год тому назад были обличены, со стороны той же клубнички, нигилисты г. Авенариусом. Этот последний представитель русской интеллигенции тоже весьма пикантно (до такой степени пикантно, что, говорят, даже получил на этот счет внушение свыше) рассказал несколько безобразных эпизодов из жизни петербургских нигилистов. Я с г. Авенариусом и со всей этой породой разговаривать не желаю и потому не стану ему доказывать, что он... как бы это поприличнее выразиться... бесцеремонно ошибается, утверждая, что рассказанные им безобразия вытекают непосредственно «из принципов новых людей». Крайняя недобросовестность или крайнее тупоумие, – вот печальная альтернатива, в которую усадили себя эти господа. Но что они были бы правы, если бы говорили только об одиночных фактах, – в этом не может быть никакого сомнения. Клянусь честью, я думать хладнокровно не могу о том, как еще недавно некоторые российские либералы надругались над делом, которое на словах выдавали за свое кровное дело. «Женский труд», «женский вопрос», «эмансипация женщин» – не сходили у них с языка. И толпами шли к ним бедные девочки, прося разрешения томивших их вопросов, они ждали манны с небеси. А в пустых головах либералов кроме клубничного огорода ничего не было, и обратились несчастный девочки в жертвы утренние, дневные, вечерние и ночные. Что же «партия», «фракция», как она на это смотрела? О, она жала либералам руки, сажала их в передний угол под образами!.. А на жертвы эти, на фактическое опошление и оплевание ее дела она сквозь пальцы смотрела и только хитро подмигивала, слыша о подвигах героев: делай, что хочешь, только говори вместе с нами. А слова что ж? – товар дешевый и отпустить их можно и на грош, и на рубль. За что же души-то людские загублены, спросите вы, молодые свежие души, жаждавшие истины и добра; за что они отошли прочь, – одни разочаровались и сожгли все, чему поклонялись, другие бросились в разврат? И *кто виноват?* спрошу я словами г. В. С., моего собрата по фельетонному ремеслу. Я уж не говорю, честно ли это, а практично ли это и много ли полку прибыло? О других сферах либеральной деятельности я когда-нибудь тоже поговорю, и вы увидите, что плоды ее подчас таковы же.

Г. Авенариус жестоко ошибается, предполагая, что он изобразил новых людей. Это может быть и молодые люди, но не новые. Это то самое старье, которое прежде пользовалось приятностями *juris primaе noctis*¹⁵ и «обожало красоту». Они только мундир переменяли, потому что в этом новом костюме им было легче ловить в мутной воде рыбу. Старый мундир был уже давно замаран и не одним развратом, а в новом было так удобно стрелять по двум зайцам за раз: с одной стороны приобретались лавры либерализма и иногда даже мученика, а с другой срывались цветы наслаждения. И вот вам русская партия...

Я уже обратил ваше внимание на то, что женский вопрос был поднят единовременно с практическим отрицанием крепостного права и теоретиче-

¹⁵ Права первой ночи (лат.). – Примеч. ред.

ским отрицанием искусства. Сила была на стороне отрицателей, между прочим и потому, что по некоторым вопросам на их стороне было и правительство. Следовательно разработка женского вопроса совпадает по времени с крайне неудобным положением крепостников и Домбровичей, за которыми была признана монополия разврата. Виновниками этого неудобства были те же самые люди, которые и за женский вопрос ухватились. Вследствие этого, монополисты разврата вцепились когтями и зубами во все, что делали и говорили их противники. Все их усилия были тщетны, пока женское дело было не замарано прикосновением старья в новом мундире. Но как только появились эти негодяи, они могли уже успешнее тыкать пальцами в чужой разврат, – *les diables qui grêchent la morale!*¹⁶ – А между тем им следовало бы обняться и вместе отправиться на какие-нибудь вечера à la régence. Там их настоящее место. Вся беда в том, что ни один сверчок своего шестка не знает, и потому своя сво-их не познаша.

Мне хочется рассказать вам историю, случившуюся с одним сверчком недавно, несколько месяцев тому назад. Сверчок этот не простой сверчок, а педагог, значит, представитель русской интеллигенции. Он был преподавателем во многих учебных заведениях, отличался благочестием и издавал назидательные книжки, в которых неодобрительно отзывался о нигилизме (а что такое нигилизм – зри выше). У педагога был друг, тоже педагог и тоже весьма благочестивый и издававший книжки вместе с первым педагогом. Но друг оказался коварным другом и произошла некоторая семейная история, рассказывать которую я считаю неудобным и излишним. В то время как шла по поводу этой истории катавасия, оказалось, что благочестивый педагог большой ходок по части клубнички. Но что всего любопытнее, так это то, что почтенный педагог вел дневник или опять-таки скорее ночник своих амурных походов, в котором описывал оные со всеми мельчайшими психическими и физическими подробностями. Отрывки из этого дневника ходили по рукам. Я сам не видал их, но мне кое-что передавали, – почище будет гг. Авенариуса и Бобарыкина.

И такие-то люди имеют право укорять новых людей в разврате! Грустно, читатель. До такой степени грустно, что мне очень хочется рассказать вам *pour la bonne bouche*¹⁷ что-нибудь веселенькое. Разве вот что... Вы слышали о г. Я. Полонском? Как, я думаю, не слышать. Ну так вот он какую штуку выкинул. В последнее время его поэтическая лира бряцала не особенно громко по разным закоулкам русской литературы в роде «Литературной библиотеки». По поводу голода он тоже любопытным стихотвореньем в «Петербургских Ведомостях» разразился. Но он и от прозы не прочь. В одном из последних номеров старых «Отечественных Записок» была напечатана весьма занимательная статья г. Полонского: «Прозаические цветы поэтических семян». Я не берусь вам передать все красоты этой статьи, прочтите сами, если вы уже не прочитали. Дело в том, что г. Полонский счел почему-то нужным

¹⁶ Дьяволы, проповедующие мораль (фр.). – Примеч. ред.

¹⁷ Для хорошего вкуса во рту (буквально, французская идиома). – Примеч. ред.

доказывать (от Р. Х. в 1867 году, заметьте) г. Писареву, что все, сказанное когда-либо этим критиком в прозе, было уже давно изъяснено им, г. Полонским, в стихах. В этом и состоит вся суть довольно длинной статьи. И презабавно выходить: вы, говорит, требуете утилитаризма? да я что ж говорил, помилуйте, – следует стихотворная цитата. Вы, говорит, насчет образования женщин, а это что? – и опять г. Полонский цитирует самого себя. И так это мило, по домашнему, в халате и в ночном колпаке. Только вдруг разрешается г. Полонский в июньской книжке «Вестника Европы» полупрозаической, полупоэтической статьей: «Ночь в Летнем Саду». И в этой самой «Ночи» попадают строфы такого рода (речь ведется от имени Крылова и, как кажется г. Полонскому, в крыловском роде):

*Я услышал ворчанье в той аллее,
Где с нашим Гнедичем я гуливал не раз...
Там, Тумба вбитая, подняв тупое рыло,
Хриплым голосом учила
Юнону (что в тени подстриженных ветвей
Из мрамора как снег белелась перед ней):
«Эх, милая моя! – ей Тумба говорила: –
Будь современнее – приноровись к тому,
Чтоб в праздник на тебе горели с салом плошки.
А то к чему
И для чего со мной стоишь ты у дорожки?
Ведь если б все такой вопрос
По моему, как следует, решили,
Твой нос –
Красавица, давно б отбили»...*

.....
*Я долго ждал, что будет отвечать
Статуя Тумбе; но красавица молчала
И может быть должна была молчать,
Чтоб даром слов своих на ветер не бросать.
«Ну погоди же ты! – вновь Тумба прорычала; –
Плевать мне на твои античные красы!
Чтоб у богинь сколачивать носы
Я на Руси найду охотников не мало»....*

Вот те и здравствуй! Вот те и утилитаризм, провозглашенный г. Полонским задолго до г. Писарева! Утилитаристы-то оказываются «тупорылыми тумбами»... Так-с. Пойдем дальше.

*И слышу вдруг: Оса тихонько выползает
Из-под травы, где у нее
Дыра в подземное жилище,
И на свиданье
К Дождеву кружась летит.
Чуть слышно скромное осиное жужжанье,*

Однако жалом шевелит
 И говорит:
 – «Любезный дождевик! как публицист ты знаешь,
 Что у невежественных Ос
 Осят не мало развелось.
 И разумеется ты понимаешь,
 Что их развить,
 Иль, иначе сказать, предохранить
 От всякого влиянья
 Всем нам известного преданья,
 Гораздо мудренее, чем плодить.
 Вот у меня один – такой осенок вострый,
 Так любознателен, что страсть!
 Зачем, кричит, у пчел воск белый, а не пестрый.
 И отчего нельзя из меду нитки прясть?
 И к моему стыду, я не умею
 На эти умные вопросы отвечать –
 И разумеется должна молчать,
 И разумеется краснею.
 А от чего?
 Все от того,
 Что пчелы лекций Осам не читают,
 Не понимают
 И как бы не желают понимать
 Что я склонна к естествознанью,
 Почти на столько же, на сколько и к жуужжанью.

 Опять послышалось Осы жуужжанье:
 – Любезный дождик! на днях у пчел собрание.
 Они собираются о воске рассуждать,
 О меде, обо всем, что следует нам знать,
 Я написала к ним посланье –
 Они должны сейчас свой улей позабыть,
 Должны сейчас свой мед оставить
 И Ос учить,
 Как им мозги свои поправить.
 И т. д.

Читателям «Совр. Обзор.», знакомым с историей адреса женщин, поданного ими в съезд естествоиспытателей, понятно, куда гнет свой юмор г. Полонский, тот самый г. Полонский, который предвосхитил у г. Писарева мысль о необходимости женщинам образования. Угорела, значить, барыня в нетопленной комнате. Ну, скажите же мне теперь, к какой «фракции» принадлежит или может принадлежать г. Полонский да и «Вестник Европы» тоже,

этот, так сказать, «*Messenger de l'Europe*»¹⁸, состав редакции которого украшается именами многих членов университетского сословия? Подумайте, да и скажите. А теперь до свидания.

Аркадий Протасов

Современное обозрение, 1868. №6.

¹⁸ «Вестник Европы» (фр.). – Примеч. ред.

ПОДРАСТАЮЩИЕ СИЛЫ

П. Н. Ткачев

От редакции

Петр Никитич Ткачев родился в 1844 году в семье архитектора, одного из создателей ансамблей Петербурга. Окончив гимназию в семнадцать лет, он поступает на юридический факультет Петербургского университета, но почти сразу же принимает участие в студенческих волнениях, что приводит его в тюрьму. С 1862 года он активно участвует в революционных кружках и печатается в разных журналах. Еще раньше ходили в списках его стихи, призывавшие крестьян к революции. В 1865 году он печатает, в виде приложения к переводу одной книги, устав I-го Интернационала. Каждый год он попадает в тюрьму, и общим счетом проводит в заключении четыре года. В 1873 году Ткачев нелегально уезжает за границу и до конца жизни остается в эмиграции.

После попытки сотрудничества с журналом П. Л. Лаврова «Вперед!» Ткачев публикует, в виде двух брошюр, свои разногласия с Лавровым и Энгельсом. В 1877 году он начинает, со своими сторонниками, издавать в Женеве журнал «Набат», установив связи с кружками в России, составившими «Общество народного освобождения». Ткачев печатал также свои статьи под псевдонимами в России, в журнале Благосветлова «Дело». В 1882 году, после прекращения «Набата», он издавал во Франции газету того же названия (*Le tocsin*). В последние годы жизни Ткачев страдал психической болезнью. Он умер в Париже в 1886 году.

Политическое направление Ткачева определялось как «якобинство»: он ожидал перемены государственного строя в результате восстания и надеялся на преобразования, совершаемые сильной государственной властью. Народовольцы, с которыми он пытался установить связь, не приняли его взглядов.

Публикуемая дальше статья Ткачева посвящена положению женщины в России. Она начинается с обсуждения проблем русской интеллигенции, и хотя слово это еще не употреблялось в печати, автор считает его смысл общеизвестным. Бросается в глаза общая установка Ткачева, выраженная его словами: «Миросозерцание людей и характер их деятельности всегда определяются условиями их экономического быта»: это один из первых предвестников русского марксизма, хотя сам Ткачев не был последователем Маркса.

Ткачев пишет свою статью в форме литературной критики, по поводу трех романов. Один из них, роман В. А. Слепцова «Трудное время», занимает важное место в русской литературе: это замечательный документ своей эпохи. Ткачев недооценивает эту книгу, отличающуюся большим художественным талантом. Он вообще слабый литератор, как это видно и из самой статьи. От писателей он требует «рисовать перед читателями возвышенные

идеалы людей-граждан», сокрушаясь, что таких писателей все еще нет. Но, независимо от литературного достоинства статьи, сама она является памятником своей эпохи. В ней ярко выступает наивная вера молодого автора в будущее своего поколения и русской женщины. Жена Ткачева, судившаяся по одному из процессов того времени, сопровождала его в изгнание, разделяя его взгляды.

П. Н. Ткачев

СОВРЕМЕННОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Подрастающие силы

(Трудное время. Повесть В. Слепцова; Живая душа. Роман Марко-Вовчка. Между двух огней. Роман Авдеева.)

Достолюбезное отечество наше изобилует, по-видимому, контрастами самыми неудобобъяснимыми и поразительными; явления, по-видимому, с самыми противоположными свойствами уживаются у нас совершенно миролюбиво. Первобытная дикость и варварство перемешиваются и переплетаются с утонченною европейскою цивилизациею, – отсталые, возмутительные предрассудки и непроходимое невежество – с «последними выводами» западной науки, возвышеннейшие и благороднейшие теории – с самою заскорузлую рутиную практики... Образованное меньшинство стоит почти на одинаковом уровне развития с образованным меньшинством западной Европы, – мало того, – по господствующим в нем тенденциям, по господствующему в нем складу и направлению мысли, оно, по крайней мере, в лице своих лучших представителей, может занять не последнее место в первых рядах европейской интеллигенции. В то время как одна часть общества продолжает вести жизнь «по образу и подобию» своих предков XIV века, другая часть реформирует ее сообразно с последними выводами общественной науки и нравственной философии, отвергает рутину и предания, и относится ко всем окружающим ее явлениям с трезвостью и безбоязненностью мыслящего критика. По своему строго-критическому отношению к окружающим ее явлениям, по смелости своей мысли, – она ни в чем не уступает лучшей части западно-европейской интеллигенции. Подобные контрасты приводят в страшное смущение благодушных и неблагодушных ценщиков нашей цивилизации. Одни, устремляя свои взоры исключительно на картины мрачного свойства, видят кругом одно невежество, варварство, произвол, дикость, необузданность нравов, повальное тупоумие, и потому грустно объявляют, что наша цивилизация никуда не годится и что она не представляет ни одного сколько-нибудь утешительного явления. Другие, напротив, имея в виду по преимуществу одну только интеллигенцию, или правильное одну только часть этой интеллигенции, утверждают также не без грусти, что наша цивилизация слишком скороспела и что недурно было бы несколько попридер-

жать ее, возвратить к «народным началам», т. е. к первобытному невежеству и к дикости наших почтенных предков. Мы думаем, что и те и другие равно ошибаются. Наше положение не так мрачно и безнадежно, как думают первые, и наше интеллектуальное развитие совсем не представляет той скороспелости, какую в нем предполагают вторые. Условия общественного и экономического быта нашего народа, правда, изменились очень мало, сравнительно с тем, чем они были прежде; но такова уже участь всякого народа. Цивилизация, вообще говоря, никогда не имела обыкновения слишком много о нем заботиться; у нее и без него много есть хлопот, тем более, что она наперед знает, что о ее достоинстве и степени развития судят совсем не по тому, как живет этот народ, насколько улучшилось или ухудшилось его положение, а по тому, насколько развились науки и искусства, украсились города, расширилась торговля, проложились новые пути сообщения, усовершенствовалась армия, администрация и т. п. Это-то собственно она и имеет в виду, а до другого-прочего какое ей дело. Потому отсталость невежественного народа нечего ставить в укор нашей отечественной цивилизации; а за те здоровые мысли и понятия, которые в наше время стали распространяться и утверждаться в небольшом кружке нашей интеллигенции, — нельзя ее не поблагодарить. Эти здоровые мысли и понятия составляют как бы залог нашего будущего счастья; и чем сильнее они станут проникать в наши головы, чем сильнее подчинят они нас себе, чем могущественнее отразится их влияние на нашей деятельности, тем скорее устранится из жизни все, что делает ее теперь такою мрачною, унылою, все, что ее гнетет и задерживает. Вот потому-то мы и говорим, что эти понятия составляют светлую точку нашей цивилизации, точку, которая должна разрастись и покрыть собою весь мрачный фон картины. Однако именно за эти-то понятия наша цивилизация и пользуется весьма нелестным для нее эпитетом *скороспелой*. Мысли и положения, выработанные западно-европейскою наукою и усвоенные лучшею частью нашей интеллигенции, называются *вершиками*, нахватаемыми без толку и смысла, чуждыми нашей жизни, не имеющими под собою никакой прочной реальной почвы. На людей, осмеливающихся анализировать общественные явления с точки зрения последних выводов западной науки, постоянно сыпятся упреки в верхоглядстве, непрактичности и даже в недобросовестности и злонамеренности. А между тем, если бы эти господа порицатели имели головы нормально-устроенные и если бы они привыкли или были способны понимать то, что вокруг них происходит, тогда они убедились бы, что все эти, по их мнению, скороспелые теории и на лету схваченные мысли и понятия имеют глубокое и в высшей степени реальное основание, что это основание лежит в самых условиях жизни интеллигентной части нашего общества, что они не наносны, не произвольны, а логически вытекают из данных общественных отношений, и что они повторяются не ради глупого попугайничанья, не ради любви к верхоглядству, а напротив вызываются и обуславливаются требованиями народной жизни, той самой народной жизни, о которой они так красноречиво толкуют и о которой они так мало знают. Цель нашей статьи требует, чтобы мы несколько подолее остановились на этом пункте, и потому про-

сим читателя не сетовать на нас за это кажущееся уклонение от главного занимающего нас предмета.

Мирозерцание людей и характер их деятельности всегда определяются условиями их экономического быта. Конечно, в применении к отдельным личностям это положение допускает многие исключения, но в применении к целому сословию или классу оно безусловно справедливо. Еще недавно крепостное право управляло всеми нашими экономическими отношениями, всеми житейскими и нравственными интересами. На нем, как на краеугольном камне, покоилась вся незамысловатая общественная жизнь, и из него вытекали все умственные и нравственные наши принципы... Коснуться критически этого рабского института, сложившегося веками, значило коснуться «основ и коренных начал» нашей жизни... При таких условиях общественного быта, трудно было допустить, чтобы интеллигентная часть общества, выходящая, разумеется, не из сословия крепостных, нуждалась в идеях, противоположных своим личным интересам, и допускала возможность серьезной умственной деятельности.

Но, увы, ничто не прочно под луною, – и всего менее прочен общественный порядок, основанный с одной стороны на легкомысленном тунеядстве, и с другой, на крепостном труде и вечном самопожертвовании. Крепостной труд и неизбежно связанное с ним тунеядство до того расстроили всю нашу хозяйственную систему, что сделали совершенно необходимым коренное преобразование ее. Таким образом возникло некоторое недовольство и, как следствие его, потребность в критическом отношении к явлениям окружающей жизни. Вот с этого-то момента и начался период той своеобразной литературы, которая впоследствии получила название отрицательной. Когда же совершился экономический переворот – верное критическое направление должно было, по естественному ходу вещей, сделаться господствующим и самым влиятельным. Центр тяжести нашей интеллигенции переместился; прежде она почти исключительно выходила из сословия прочно обеспеченного, консервативно настроенного; теперь же барская интеллигенция должна была ступать перед другою, вышедшею из другого класса людей. Этот другой класс людей, начавший формироваться очень давно, и получивший особенно сильное развитие после экономических преобразований, составляет нечто среднее между сословием прочно обеспеченным и совсем необеспеченным. Умственные занятия и другие тесно связанные с ними отрасли труда служат для него единственным средством к существованию; а так как запрос на продукты подобного труда, при таких условиях, в которых живет большинство нашего населения, весьма ограничен, то понятно, что обеспечение этого класса не представляет никакой прочности, никакой солидности. Видя источник своего существования единственно в своей собственной деятельности, в своем личном труде, – он не имеет ни малейших оснований питать нежные чувствования к каким-либо другим посторонним источникам, которые его не поят и не кормят. Отсюда весьма легко понять, к какого рода теориям и доктринам должен он отнестись всего симпатичнее и какое мирозерцание легче всего ему усвоить, а так как, по самому положению своему,

он должен был захватить в свои руки почти весь умственный груз, всю умственную деятельность общества, то, разумеется, его направление, склад его мыслей, его мирозерцание должно было сделаться господствующим направлением всей нашей литературы. Следовательно, это мирозерцание, это направление не есть плод нашей незрелости, нашего верхоглядства: – нет, оно плод условий нашей экономической жизни, наших общественных отношений, оно естественно необходимо и неизбежно, что бы там ни говорили представители отжившей системы. Их голос всегда будет голосом вопиющего в пустыне, их коварные ухищрения и злобные интриги обрушатся на их же собственную голову. Время их прошло и их кажущееся торжество непрочно и мимолетно, с крепостным правом должны погибнуть и крепостные понятия, и крепостная литература.

Таким образом, экономическими соображениями весьма легко и удобно объясняются и примиряются контрасты в явлениях нашей общественной жизни, они оказываются даже, при ближайшем рассмотрении, совсем не контрастами, а логическими, неизбежными последствиями данной системы общественных отношений, последствиями, друг друга объясняющими и дополняющими. Эти же соображения объясняют и другой контраст, о котором мы еще ничего не говорили, но ради которого мы и речь-то завели о контрастах вообще. Меньшинство, стоящее, по своему мирозерцанию, в аванпосте европейской интеллигенции с одной стороны, с другой, большинство, по складу своего ума и по образу своей жизни, приближающееся к состоянию первобытных людей, – это контраст довольно поразительный и удивительный. Но еще поразительнее и удивительнее контраст между положением и мирозерцанием русской женщины интеллигентного меньшинства с одной стороны, с другой положением и мирозерцанием русской женщины вообще, – между взглядами на женщину меньшинства и взглядами большинства, между отношением к женскому вопросу русской интеллигенции и уровнем умственного развития соотечественников наших вообще! Ни в одном западно-европейском государстве отношение развитых женщин к развитым мужчинам не представляет такой благоприятной для женщин пропорции, как у нас, в России, и в то же время едва ли в какой другой стране положение женщин вообще, так неутешительно и печально, как у нас. Чем грубее и невежественнее народ, чем он беднее, тем позорнейшую и унижительнейшую роль играет в нем женщина. Пользуясь ее бессилием, ее обременяют работою, и потом за это же бессилие, ее презирают, на нее смотрят, как на домашнее животное, на существо низшее, и потому не заботятся о ее развитии и не щадят ее человеческого достоинства. Разные Титы Титычи, под всевозможными видами, тешутся над нею всласть и заставляют ее безмолвно и безропотно повиноваться и преклоняться пред их диким самодурством. Только дурак не обижает ее. Порабощенная и забитая в семье, она, разумеется, не имеет никакого голоса и никакого значения вне семьи; она удалена от всяких общественных обязанностей, от всякой общественной деятельности; она вечная раба общества. Как же могли, среди таких неблагоприятных условий, образоваться у нас те самостоятельно мыслящие женщины, которые по степени своего развития, по

складу и направлению своих мыслей, смело могут быть поставлены в ряды лучшей части нашей интеллигенции, которые, по своей чуткости и восприимчивости ко всякой новой мысли, ко всякому общественному движению, ничуть не уступают наиболее развитым и мыслящим мужчинам?..

Сомневаться в существовании у нас таких женщин не станет никто, кто только следил в последнее время за нашею общественною жизнью и литературою. Новые условия экономической жизни, созданные уничтожением крепостного права, породили новое стремление к деятельности, новый взгляд на общественные отношения, одним словом, привели к пониманию нового типа женщины, которого не знала литература крепостного периода. Несмотря на все недоброжелательство к этому новому типу той литературной компании, во главе которой стояли гг. Соловьевы, Авенариусы, Стебницкие и tutti frutti¹⁹, несмотря на их худо-скрытое желание, во что бы-то ни стало очернить и оклеветать своих героинь перед своими читателями, — эти героини все-таки выходили несравненно лучше и чище своих творцов. Читатель сейчас же догадывался, что это карикатура, что в ней кого-то хотят осмеять и обесславить, но что те, кого в ней хотят осмеять и обесславить, ни мало не достойны ни посмеяния, ни обесславления. Появление этих неискусных карикатур служило лучшею рекомендациею тем, на кого они были напечатаны... Если для подобной литературы эти «новые женщины» казались опасными, то значит в них была какая-то действительная сила, возбуждающая внимание сторонников отживающей системы, подрывающая их убогое мирозерцание, пропитанное крепостничеством и филистерством. Но их скудоумие и их невежество отнимали у них возможность понять сущность этой силы, определить ее характер и направление, они боялись ее, но боялись инстинктивно, как боятся маленькие дети трубочистов. Для них это был чистый сфинкс. Они делали вид, будто разгадали его, будто знают его, как свои пять пальцев, но чуть только они начинали излагать результаты своего понимания и своего знания, — как для всех становилось совершенно очевидным, что они ровно ничего не понимают, ровно ничего не знают. И чем удобопонятнее и пластичнее старались они выражаться, тем рельефнее изобличалось прискорбное непонимание и их безнадежная несообразительность.

Теперь, когда за изображение этих «новых женщин» взялись люди более или менее беспристрастные, относящиеся к окружающей их жизни по возможности трезво и спокойно, не имеющие никаких поводов клеветать и инсинуировать на своих героинь, теперь, говорим мы, настало самое удобное время и для критики сказать о них свое слово. Прежде, когда она знала этих людей только по произведениям гг. Стебницких, Писемских, Авенариусов и К°, она не могла и не имела права давать о них свое заключение. Материал, который предлагали ей услужливые романисты, хотя и был обилен, но был до того изгажен и запачкан, что чистому человеку невозможно было прикоснуться к нему. Тогда критика должна была молчать, но теперь, и особенно с появлением в печати романов Марко-Вовчка (Живая душа) и Авдеева (Меж-

¹⁹ Все подобные (итал.). — Примеч. ред.

ду двух огней), продолжать молчание мы не видим надобности. Потому мы в настоящей статье намерены разобрать возникающий тип «новых женщин», наделавших столько шума и возбудивших против себя такую единодушную злобу и ненависть со стороны защитников крепостничества и филистерства. Материалом нам будут служить, кроме двух названных романов, – повесть г. Слепцова «Трудное время», написанная хотя и довольно давно, но тем не менее сохранившая и до нашего времени все свое значение, так как лица и отношения, изображенные в ней, в такой же степени могут быть характеристичны для 1865–66 годов, как и для 1868–69 года. Женский характер, выведенный в ней, служит как бы идеалом того нового типа женщин, который с большею обстоятельностью и рельефностью рисует нам г. Марко-Вовчек в своем последнем романе, – идеалом, хотя бледно и слабо очерченным, но тем не менее по сущности своей верным основной идее типа. С этого-то идеала мы и начнем. Но прежде мы должны ответить на вопрос, поставленный нами выше. Каким образом, среди указанных нами неблагоприятных условий, мог развиваться и выработаться тип «новых женщин?»

Мы говорили уже о том влиянии, которое оказали последние экономические реформы на характер и направление умственного развития нашей интеллигенции, мы сказали также, как эти реформы видоизменили и самые условия ее мирозерцания. При крепостном праве наша интеллигенция поилась и кормилась крепостным трудом; о хлебе насущном ей думать было не нужно, – об этом думали за нее разные управляющие, арендаторы, сборщики податей и т. п. Хотя поэты и пели, будто «хлеб, возделанный рабами, не идет впрок», хотя романисты и жалели подчас меньшего брата, однако это несколько не смущало довольного и благодушного настроения их духа. Они спокойно и величаво относились к явлениям окружающего их мира, и потешали своих, таких же довольных, читателей – художественными пейзажиками и звучным рифмоплетством. По мере истощения крестьянского хозяйства, по мере разорения помещиков, все более и более сокращались ресурсы к жизни так называемых «благородных сословий»; прежде все члены этих сословий, без различия пола и возраста, находили себе готовый прибор на «жизненном пире», и немало еще приборов оставалось незанятыми, так что некоторые могли есть зараз за двоих и за троих; теперь число приборов так значительно сократилось, что для многих совсем не оказалось за столом места. Число этих многих увеличивалось пропорционально истощению помещичьих хозяйств и расширению государственного долга. Последние реформы усилили их комплект еще более, так что, как мы уже выше сказали, образовался целый класс, который не имеет никаких других средств к существованию, кроме умственного труда; в этом классе число женщин оказалось не менее числа мужчин. Что оставалось делать этим женщинам, с одной стороны лишенным возможности благовидным образом заедать чужой хлеб, с другой – желающим жить и не имеющим охоты ни умирать с голоду, ни продавать себя? Им оставалось одно – начать самостоятельно трудиться; но как трудиться, где трудиться? Для них были преграждены почти все пути к практической деятельности. Они стали добиваться ее, – они заговорили о своих правах, а так как условия

экономической жизни этого класса, как для мужчин, так и для женщин, были одинаковы, то идея о равноправности труда мужчин и женщин должна была возникнуть сама собою в головах тех и других. Далее, вследствие неразвитости нашей промышленности, вследствие вообще нашей экономической отсталости, спрос на женскую работу, на рынке чисто механического труда весьма ограничен, потому большинство этих женщин-пролетариев вынуждено искать средства к существованию в труде умственном. Отсюда в среде их возникает жгучая потребность к развитию, к самообразованию, к расширению своего умственного кругозора. Ограниченность предоставленных им средств для удовлетворения этой потребности поневоле заставила их ограничиться теми теориями, воззрениями, теми научными данными, которые были только доступны русской интеллигенции, а необеспеченность, шаткость их экономического положения сделали их особенно чуткими и восприимчивыми к этим теориям и воззрениям. Таким образом их мирозерцание и направление их деятельности совпали с мирозерцанием и направлением деятельности мужской интеллигенции.

II

Мы указали те общие экономические причины, которые вызвали и обусловили появление типа «новых женщин». Как эти общие причины отражаются на той или другой личности, как они действуют в том или другом частном случае, – это должен показать нам художник, взявшийся за изображение характера новой женщины. Но вот именно это-то и упускают из виду наши романисты, – они представляют нам характер уже готовым, сформировавшимся, и заставляют самого читателя догадываться, почему именно он сложился так, а не иначе. Марко-Вовчок представляет, по крайней мере, некоторые данные, на основании которых загадку эту решить нетрудно, но гг. Слепцов и Авдеев и данных даже не приводят никаких. Героиня «Трудного Времени», Марья Николаевна Щетинина, рекомендуется читателям в тот момент своей жизни, когда она уже достигла более или менее зрелого возраста и находится даже в замужестве за достаточным помещиком-либералом. Мы не знаем, среди какой обстановки она росла и развивалась, какие мысли, желания и стремления волновали ее в период юности. Только по одному разговору ее с мужем мы можем догадываться, что эти желания и стремления были гораздо возвышеннее и благороднее, чем желания и стремления, волнующие обыкновенно незамужних барышень. «Вспомни», – говорит она своему мужу, либеральному помещику, – «что ты мне сказал, когда хотел на мне жениться? – Ты мне сказал: мы будем вместе работать, мы будем делать великое дело, которое, может быть, погубит нас и не только нас, но и всех наших, но я не боюсь этого. Если вы чувствуете в себе силы, пойдемте вместе. Я и пошла. Конечно, я тогда еще была глупа, я не совсем еще понимала, что ты там мне рассказывал. Я только чувствовала, я догадывалась. И я бы пошла, куда угодно. Ведь ты видел, что я очень любила свою мать, я и ее бросила. Она чуть не умерла с горя, а я все-таки ее бросила, потому что я думала, я верила, что мы будем делать настоящее дело. И чем же все это кончилось? Тем,

что ты ругаешься с мужиками из-за каждой копейки, а я огурцы солю, да слушаю, как мужики бьют своих жен – и хлопаю на них глазами. Послушаю, послушаю, потом опять примусь огурцы солить. Да если бы я желала быть такой, какую ты меня сделал, так я бы вышла за какого-нибудь Шишкина, теперь у меня может быть уже трое детей было бы. Тогда я, по крайней мере, знала бы, что я мать; знала бы, что я себя гублю для детей, а теперь... Пойми, что я с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что от этого польза не для нас одних, что я не просто ключница, которая выгадывает каждый грош и только и думает о том: ах, как бы кто не съел лишнего фунта хлеба! ах как бы... Какая гадость!»! – Это искреннее излияние до некоторой степени дает нам возможность приподнять завесу, скрывающую от наших глаз юность героини, ее юношеские мысли и стремления. Господствующую ее мыслью, господствующим ее стремлением – было стремление быть полезною для других; «я бы с радостью пошла бы землю копать, если бы видела, что от этого польза не для нас одних». Мысль эта должна была явиться в ее голове, так сказать, сама собою, едва только она почувствовала, что окружающая ее обыденная жизнь, с ее пошлыми и мелкими стремленьями, с ее пустыми интересами, с ее мизерными целями, не может ее удовлетворить. Но отчего же она могла это почувствовать? Вопрос этот сводится к вопросу о возникновении у нас типа новых женщин, потому что основная сущность их характера состоит именно в том, что они, не удовлетворяясь ее узким, эгоистическим (в тесном смысле этого слова) счастьем филистера, – стремятся к счастью более возвышенному, более человеческому; более широкому, к счастью, которое невозможно и немислимо без счастья целого народа. Мы указали уже на те общие причины, которые благоприятствовали образованию в кругу нас *среднего класса*, резко отличающегося от среднего класса западноевропейских государств тем, что он не имеет, подобно последнему, никаких других средств к существованию, кроме личного труда, но который, вообще говоря, довольно ограничен. Следовательно, положение его не может быть названо прочно-обеспеченным. Чем менее обеспечено положение человека, чем более влияют на него случайные обстоятельства, лежащие вне его воли и предвидения, чем более чувствует он свою зависимость от других людей, тем рельефнее и яснее представляется ему необходимость полной солидарности человеческих интересов, тем естественнее, тем скорее возникает в его уме убеждение, что счастье единицы невозможно без счастья целого, личное счастье без счастья всего общества. Есть еще другая причина, способствующая возникновению этого убеждения, в той среде, из которой выходят новые женщины. С одной стороны труд, особенно тот труд, на который они обречены по самому положению своему, возбуждает в них умственную деятельность, умственные потребности, с другой, та, в большой части случаев, незащитная и бедная материальная обстановка, среди которой они растут, мало может способствовать развитию в них потребностей, имеющих, по преимуществу, чувственный характер; вследствие этого стремление к удовлетворению умственным потребностям является у них господствующим. Их не занимают моды и наряды, они не особенно дорожат комфортом, они скучают

на балах, – глупая и бессодержательная болтовня салонных героев не забавляет их, – зато с каким жаром бросаются они на всякую хорошую книгу, как любят они заводить разговоры о «материях важных», как страстно хотят они учиться и учиться... Но как же удовлетворяет этим их желаниям окружающая их действительность, что дает она им, что она им обещает? Она почти ничего им не дает из того, что они хотят иметь, – она не обещает им ничего такого, что бы могло возбудить в них какие-нибудь радостные надежды, усилить и укрепить их энергию. Могут ли они удовлетворяться такою действительностью, могут ли они свыкнуться с нею? Не должно ли в них пробудиться горькое разочарование, презрение ко всей этой, окружающей их пошлости и мелкости? Эта реакция, нет сомнения, заставит их отнестись отрицательно к той деятельности, которая имеет исключительно в виду одни только непосредственные узко-эгоистические интересы, заставит их искать другой деятельности, основывающейся на более возвышенных и более рациональных мотивах. Вот те причины и побуждения, которые заставляют новых женщин, совершенно даже бессознательно, относиться отрицательно к окружающей их жизни, и стремиться к деятельности, основанной на взгляде, противоположном узкому, филистерскому эгоизму, искать дела – «великого дела, настоящего дела», как говорит Марья Николаевна Щетинина; – стремление это, как видите, не имеет в себе ничего призрачного, фантастического; оно реально, глубоко реально; – оно логически и неизбежно вытекает из тех условий, среди которых зародился тип «новой женщины». В нем их сила, в нем то великое значение, которое оно имеет для всего общества, для целого народа. Пусть тупоголовые филистеры и защитники крепостничества и застоя, пусть они издеваются над этим бессознательным, неопределенным исканием «великого, настоящего дела», пусть они называют этих неудовлетворенных искательниц пустыми фантазерками, глупыми мечтательницами, – все-таки эти пустые фантазерки, эти глупые мечтательницы – сила, которая может «камни ворочать» и «горы двигать», потому что ею управляет не лавочнический расчет себялюбивого интереса, – всегда робкого, всегда оглядывающегося по сторонам, – а безотчетное стремление к чему-то «великому» и настолько великому, что для него можно всем жертвовать, что для него нельзя ничего пожалеть. И эта погоня за «великим» все-таки лучше тупого самодовольства: первая ведет к прогрессу, – она заставляет постоянно стремиться вперед, тогда как последняя всегда приводит к застою, узаконяет и освящает неподвижную рутину.

Стремление к «великому делу» является у новой женщины сперва совершенно бессознательно. «Я была еще глупа, я не понимала, что ты мне рассказывал», говорит Щетинина своему мужу, «но я все-таки стремилась к чему-то великому, и за тебя я пошла и мать свою бросила, потому что ты мне сказал: мы будем делать великое, настоящее дело, и я верила, что это так будет, и что мое бессознательное стремление найдет себе наконец удовлетворение». Но Щетинина упустила при этом одно обстоятельство, – она забыла, или скорее она не знала, что ее бессознательное стремление к великому делу только тогда может найти себе удовлетворение, когда из бессознательного

оно превратится в сознательное. Если у человека является безотчетное стремление, которое он не может точно и ясно определить, то он никогда не в состоянии будет приискать и средств, с помощью которых оно может осуществиться, он не в состоянии будет приурочить его к какой-нибудь отчетливо сознанный цели, отчетливо понятому делу. Потому стремление так только навсегда и останется одним стремлением; ничем положительным не заявит оно себя в жизни и никто не извлечет из него никакой для себя пользы. Оно, положим, останется силою, но силою только *in potentia*²⁰, силою, следовательно, мертвою, непроизводительною. Чтобы оживить ее, чтобы из *возможности* перевести ее в *действительность*, – для этого нужно осветить ее разумом, вывести ее из области бессознательных ощущений в область сознательных мыслей. Щетинина, как мы сказали, не подумала об этом, да она и не могла подумать, потому что, по ее же собственным словам, она «была еще глупа и не понимала, что рассказывал ей Щетинин». Она верила ему на слово, и он был так глуп, что тоже поверил ей. Впрочем мы его не виним; он сам находился в точно таком же положении, в каком находилась и Марья Николаевна. В нем также было стремление к великому делу: но он имел об этом деле столь же смутные и неопределенные понятия, как и она. Потому, когда наконец пришла пора что-нибудь делать, оказалось, что это великое дело сводится к управлению имением, к наблюдению за своим хозяйством, охранению его от дерзких посягательств хитрых мужиков и пьяных дворовых. Такого исхода и нужно было ждать. Невыясненное стремление к чему-то великому не могло устоять перед настоятельными и весьма определенными требованиями практической жизни, практической деятельности, которая ждала Щетинина в деревне, и он, чтобы не впасть в мучительный разлад с самим собою, постарался уверить себя, будто эти требования вполне соответствуют его стремлению, будто удовлетворяя первым, он удовлетворяет второму, будто поглотившая его практическая деятельность и когда-то любезное ему «великое дело» синонимы, имеющие совершенно одинаковый, тождественный смысл. Проводя дни свои в безмятежном благодушии, учитывая, как выражается его жена, каждую копейку у мужиков, наблюдая за целостью и неприкосновенностью своих лугов и полей, возбраняя потравы, посещая съезды и, вообще, делая все, что делает всякий благонамеренный и не чуждый либеральных идей помещик, – Щетинин твердо убежден в душе, что он делает великое дело, что он, так сказать, приносит себя в жертву на алтарь отечеству и обществу.

«Стало быть, ты свершил в пределе земном все земное?» – спрашивает его Рязанов, после того, как тот рассказал ему, что он отдал крестьянам даром землю, следуемую им в надел.

– Какое? нет брат, – самодовольно отвечает ему Щетинин – это еще только начало.

– А еще-то что же?

– А тут-то вот и начинается настоящее дело.

²⁰ В возможности (*лат.*). – *Примеч. ред.*

– Уголовное?

– Социальное, любезный друг, социальное».

Но если Щетинин мог считать «социальным делом» усчитывание мужиков, охранение неприкосновенности своих полей и усадеб, наблюдение за полевыми работами, посещение съездов и т. п., то жена его уже никоим образом не могла смотреть на свои занятия с такой возвышенной точки зрения. В солении огурцов, да в созерцании «как мужики бьют своих жен», при всей пылкости воображения невозможно увидеть ни тени, ни подобия какого бы то ни было социального дела. Потому ее стремления к «великому, настоящему делу» никак не могли примириться с тою пошлюю, мещанскою обстановкою, которою ее окружил нежный супруг, никак не могли удовлетвориться тою мизерною, ничтожною, и по своим целям и по своему значению, деятельностью, которая встретила ее в доме либерального помещика. Это-то обстоятельство и предохранило ее от того узкого, самодовольного филистерства, в которое так быстро впал ее муж; и так бывает в большей части случаев; женщине труднее, чем мужчине, примириться с окружающею ее обстановкою, с предоставленною ей сферою деятельности, именно потому, что эта обстановка несравненно пошлее, что эта деятельность несравненно хуже, чем у мужчины. Отсюда мы и выводим заключение, что мужчине гораздо легче сделаться филистером, чем женщине; так что ограниченность ее прав обращается в ее же пользу; она служит для нее как бы спасительным клапаном, мешающим ей задохнуться под тлетворным влиянием филистерского самодовольства. В этом смысле тип «новых женщин» имеет громадное значение для всего общества, и общество может извлечь из них для себя великую пользу, если только постарается поддержать их, направить их деятельность на истинную дорогу, указать сознательную цель их бессознательному стремлению – «души свои за други свои положить». В противном случае это безотчетное, хотя и в высшей степени благотворное стремление пропадет даром и никому не принесет ни малейшей пользы; мало того, оно сделает жизнь женщины до крайности несчастною и мучительною, и в конце концов приведет к тем же результатам, к каким приводит и филистерство. Женщина, постоянно стремящаяся к «великому, настоящему делу» и постоянно встречающая одну только пошлость, мелочность, пустоту и бездельничанье, не знающая за что схватиться, куда приурочить свои силы, куда направить свою деятельность, будет вечно бросаться из стороны в сторону; постоянно волнуясь и постоянно разочаровываясь, она скоро устанет, выбьется из сил, на нее нападет отчаяние, за отчаянием последует апатия, и страстное, энергическое стремление к «великому делу» сменится полнейшим индифферентизмом, холодным, безучастным отношением ко всему, что прежде возбуждало и волновало ее. Когда женщина дойдет до такого положения, она по наружности, по крайней мере, успокаивается; добрые филистеры крестятся и самодовольно восклицают: ну, наконец-то угомонилась, наконец-то набралась ума-разума, теперь все пойдет хорошо. Но разве апатия – есть спокойствие? Разве индифферентизм, вызванный отчаянием, счастье? О, нет, спокойствие и счастье не дети индифферентизма и апатии; у последних есть свое потомство,

вполне их достойное, это – вечное недовольство собою, недовольство всем окружающим и постоянное стремление возвыситься до лучших условий жизни. Мешать этому стремлению значит противоречить логике фактов и требованиям времени. Обрекая женщину на неподвижность ее общественного положения, ограничивая круг ее деятельности кухней и гостиной, общество наказывает не одну ее; оно наказывает вместе с нею и самое себя. Оно парализует силы, враждебные филистерству; филистерство же, как мы много раз уже говорили, есть начало анти-социальное, в высшей степени вредное для интересов общежития, следовательно, все, что ему противоположно, все, что ему враждебно, должно поощряться и покровительствоваться в видах общего блага, в видах развития и преуспевания общественной жизни. В противном случае, филистерство станет господствующим пороком, и общежитие, основанное на разумных и справедливых началах, сделается неосуществимой утопией.

III

Итак, не только в интересах отдельных личностей, в интересах всего общества, всего человечества мы должны желать устроить таким образом наши отношения, чтобы безотчетное стремление людей к хорошему «великому делу», стремление, характеризующее в особенности тип «новых женщин», не оставалось вечно безотчетным, чтобы оно прояснялось сознанием, чтобы «великое дело» представлялось их уму не в виде какого-то туманного, отвлеченного, небесного образа, а в виде определенной, конкретной, вполне удобо-понятной и удободостижимой цели. Тогда только оно не пропадет за даром, в неосмысленном брожении, в тщетном, тревожном старании обнять необъятное, понять непонятное; тогда только оно принесет свои великие, обильные плоды. Но если мы взглянем на обстановку, окружающую наших женщин, то мы придем к убеждению, что их воспитание, что их жизнь всего менее благоприятствуют развитию в них ясного, сознательного мышления, без которого невозможна самостоятельная, разумная деятельность, т. е. деятельность, ставящая себе ясные цели и умеющая выбирать годные средства для их достижения. В большей части случаев воспитание, которое они получают, до того мизерно, до того нерационально, что часто даже оно оказывается недостаточным для домашнего обихода в самой простой, нетребовательной, мещанской жизни. Вне же круга этой жизни оно уже решительно никуда не годится; весьма мало расширяя ее умственный кругозор, сообщая ей весьма мало сведений, годных не для кухни и не для гостиной, несколько не заботясь о выработке в ней прочного мирозерцания, твердых убеждений, оно оставляет ее совершенно беспомощною и бессильною, в виду тех вопросов и задач, которые возбуждает в ней сама жизнь, самые условия ее существования. Оно не дает ей никаких прочных данных, никаких реальных оснований для того, чтобы она могла уяснить себе порожденное в ней, как мы выше показали, условиями ее экономического положения, – безотчетное стремление «к великому, настоящему делу», для того, чтобы она могла отчетливо представить себе предмет, цель этого стремления и средства к его

осуществлению. Не имея, таким образом, возможности собственными силами и средствами разрешить роковой вопрос: что делать? женщина видит себя в необходимости обратиться за ответом к мужчине, который имеет, по видимому, перед нею преимущество более высокого развития, более обширной опытности. Но увы! и здесь, вместо ответа, ей суждено услышать, в большей части случаев, или какую-нибудь ничего не означающую, бессодержательную фразу, какую-нибудь двусмысленную шараду, или же какую-нибудь приторную пошлость, – а чаще всего безнадежное: не знаю. Куда же тогда ей обратиться, у кого искать ответа? Где выход из ее положения, где свет, который озарит ее потемки? Никто не протягивает ей руку, никто не хочет снять повязки с ее глаз, никто не решится или не умеет поддержать ее и вывести на свет божий. Кругом ее люди, но эти люди только смотрят, как она мечется и бросается из стороны в сторону, смотрят то с иронией, то с сожалением и боязнью, то с участием и симпатией, – качают головами, делают ей разные непонятные знаки, поощряют, бранят, предостерегают – но ни один из них не помогает, ни один из них не покажет ей, куда нужно идти и что нужно делать.

Это безвыходное положение новой женщины весьма живо и рельефно изображено г. Слепцовым в его «Трудном времени». Мы видели уже, что героиня его, Марья Николаевна, выходя замуж за Щетинина, надеялась осуществить свое непреодолимое стремление к «великому, настоящему делу». Она думала, что он расскажет ей, что это такое за «великое дело», и даст ей средства и возможность совершить его, если и не вполне, то хоть отчасти. Она ошиблась. Щетинин, поселившись в своей деревне, превратился в либеральнейшего помещика и в благодушнейшего филистера. На долю Марьи Николаевны выпала деятельность, не особенно разнообразная и привлекательная: солить огурцы и смотреть, «как мужики бьют своих жен». Она, разумеется, не могла ею удовлетвориться; она была недовольна своею обстановкою; но это недовольство не настолько еще выяснилось и определилось, чтобы оно могло проявиться в резком, энергическом протесте. Нужно было, чтобы какое-нибудь внешнее обстоятельство заставило Марью Николаевну отнестись критически к окружающей ее жизни, и тогда она поняла всю неудовлетворительность своего положения, всю пошлость своей огуречной деятельности. Таким внешним обстоятельством был приезд в деревню Рязанова, давнишнего друга и приятеля Щетинина. Рязанов принадлежит к типу довольно распространенному в наше время и пользующемуся хорошою репутациею и уважением со стороны очень многих, даже и весьма проницательных людей. Но в сущности, он не заслуживает ни того, ни другого. Что такое, в самом деле, этот Рязанов? Это ходульный герой, ни на что не годный, ни на что не способный. Его считают умным потому, что он умеет вовремя молчать, и потому, что у него есть про запас целый ворох бессодержательных фраз, которыми он умеет отделаться от всякого затруднительного вопроса и сбить с толку всякого, стоящего ниже его по своему умственному развитию. Он не имеет в виду никакой разумной, определенной цели, и потому вся его деятельность, вся его жизнь так же бессодержательна и бесполезна, как и его

фразы. Рязанов сам говорит о своей жизни: «это и не жизнь, а так, черт знает что, дребедень такая же как и все прочее». Человек, сознающий, что его жизнь никуда и ни на что не годится, «что это какая-то дребедень», «черт знает что такое», – должен постараться изменить ее, должен постараться сделать ее для кого-нибудь полезной. В противном случае, он не достоин названия человека, он превращается в жалкого, отвратительного паразита, тем более жалкого и тем более отвратительного, что он паразитствует сознательно, и что он имеет цинизм открыто и всенародно объявлять об этом. Паразитизм свой Рязанов оправдывает тем соображением, что ему в этой жизни нечего делать, что песня его, так сказать, спета, и потому ему ничего более не остается, как пить, есть, да наблюдать, как живут и действуют другие. «На жизненном пиру», говорит он Щетинину, «мы с тобой не очень тоже раскутимся. Места-то наши там заняты давно». Такое странное отношение к жизни возмутило даже и благодушного филистера. «Ну нет, брат, шалишь!» отвечает он ему, я еще жить хочу. Я так дешево не расстанусь»... и т. д.

И к этому-то ходячему трупу, к этому сознательному бездельнику должна обращаться женщина с своим роковым вопросом: что делать? Разве это не трагическое, не безысходное положение? Но как же мог такой человек возбудить в ее уме подобный вопрос?

Рязанов был умнее Щетинина; сознавая совершенно верно свою собственную дрянность, он, в то же время, прекрасно сознавал и дрянность своего приятеля Щетинина, который стоял еще на более низкой ступени умственного и нравственного развития, чем Рязанов. Вследствие этого последнему во всех спорах всегда удавалось побеждать своего противника, т. е. доказывать ему, что он или глуп или подл и невежествен, что деятельность его мизерна, пошла и т. п. Марья Николаевна присутствовала при всех этих спорах, и видя, как муж ее оставался в дураках, она естественно должна была спросить себя: да что же он, в самом деле, за человек? Что он делает? Что я делаю? и т. д. Ответы на эти вопросы не могли быть, разумеется, благоприятны для Щетинина. Жене стоило только раз взглянуть глазами критика на все, что ее окружало, чтобы сейчас же убедиться в его мелочности и пустоте, чтобы сейчас же понять, что эта обстановка и эта деятельность ни мало не гармонируют с ее стремлениями, ни мало не соответствуют ее характеру. Но как же изменить свое положение? Нельзя ли в нем отыскать какую-нибудь соломинку, за которую можно бы было ухватиться? Она идет к мужу за советом и объяснением. Что же муж? Сначала он просто не понимает ее. «Тьфу ты!» восклицает проницательный супруг; – «ничего не могу понять... Да, что с тобой сделалось, скажи ты мне на милость»? Потом, когда уже нельзя было более отзывать непониманием, он начинает разжалобливать ее. «Маша! подходя к ней дрожащим голосом сказал Щетинин, схватив ее за руку, – «Маша, что ты говоришь. Да ведь... ну, да... да ведь я люблю тебя. Ты понимаешь это?» – «Да и я тебя люблю»... сдерживая слезы говорила она – «я понимаю, что и ты... ты... ошибся, да я-то, не могу я так, пойми! Не могу я... огурцы солить»....

Видя, что муж не поможет ее горю и не отыщет искомой соломинки, она решается искать ее сама, без посторонних советов и указаний. Поиски увенчиваются, по-видимому, успехом; соломинка почти найдена. Марья Николаевна задумывает завести деревенскую школу. Школа дает ей возможность, не отрываясь от мужа, не разрушая своих отношений к окружающим людям, посвятить свои труды деятельности, по-видимому, очень полезной, и во всяком случае несравненно более интересной и плодотворной, чем соленье огурцов. Итак, цель в жизни определена, деятельность найдена. С этим радостным открытием Марья Николаевна бежит к мужу и спешит поделиться с ним своею находкою. Муж опять-таки сперва ничего не понимает, а потом, когда не понимать уже было нельзя, на вопрос жены: хорошо ли она придумала? равнодушно отвечает: «разумеется, что же тут. Только я не знаю»... «Чего ты не знаешь?» спрашивает нетерпеливо жена, думая, вероятно, услышать что-нибудь дельное. Оказывается, что муж не знает, может ли она справиться с детьми. «Ведь тут», рассуждает он, терпение страшное»... Марья Николаевна успокаивает его насчет своего терпенья, и Щетинин, недоумевая, что еще можно говорить о школе, и вспомнив свой предыдущий разговор с женою, – совершенно некстати спрашивает ее: «стало быть ты теперь не сердишься?»

«Нет», – отвечала жена, немало, вероятно, удивленная этим вопросом, – «нет, да ведь я и тогда не сердилась. Ведь это совсем не то». Но спохватившись, что муж не поймет, почему это не то, и что вообще говорить с ним о подобных предметах по меньшей мере бесполезно, она резко свернула разговор в другую сторону «Ну что же там в городе?», – ни с того ни с сего спрашивает она его.

Хотя она и очень обрадовалась мысли о школе, хотя она немедленно уже хотела приступить к ее осуществлению, и столяру уже и стол заказала, и с священником переговорила, однако в глубине души ее родились, вероятно, кое-какие сомнения насчет полезности и значения этого предприятия. Так как муж оказался совершенно неспособным разъяснить ей ее мысли и разрешить ее сомнения, – то она решила обратиться к Рязанову. Между ними завязывается по этому поводу следующий разговор, который мы считаем излишним привести целиком, так как он весьма метко характеризует отношения людей рязановского типа к женщине.

– «А я у себя школу хочу завести», – безо всякого приступа объявляет Рязанову Марья Николаевна.

– Вот как! Что же – это хорошо.

– Небольшую, знаете, пока.

– Небольшую?

– Пока.

– Да. Пока, а потом и больше?

Рязанов встал и тихо прошелся по комнате; Марья Николаевна следила за ним глазами.

– Школу, сказал он про себя, и, остановившись перед Марьей Николаевной, спросил: для чего же собственно вы желаете ее устроить?

Для Марьи Николаевны это, разумеется, был вопрос самый существенный, на него-то именно и надо было ей ответить. Сама она не могла этого сделать; она не понимала, зачем ей понадобилась школа и насколько школа может соответствовать ее стремлению к «великому, настоящему делу». – Потому она отвечала Рязанову общею фразою: «для того, мол, хочу школу устроить, что это полезно». Тут Рязанову снова представляется прекрасный случай уяснить ей степень полезности и вообще значение деревенской школы. Но он безо всяких рассуждений просто соглашается, что «действительно школы полезны». После такого мудрого афоризма, он два раза прошелся из угла в угол и потом обратился к Марье Николаевне с праздным вопросом: – И скоро?

– Что скоро? быстро переспросила Марья Николаевна.

– Да школу-то заведете?

– Я завтра хочу начать. Мне бы, знаете, хотелось поскорей.

– То-то! Не опоздать бы.

– Я уже все приготовила и с батюшкой переговорила.

– Да, уже переговорили?

– Переговорила.

– Ага... так за чем же дело стало?

– Низачем не стало, – только...

– Что-с?

– Да я хотела... как ваше мнение?

– Это о школах-то? Вообще я хорошего мнения. Вещь полезная.

– Нет, я хотела вас спросить о моей школе, что вы думаете?

– Да ведь ее еще нет. Или вы желаете знать мое мнение о том, что вы-то вот школу заводите?

– Ну, да, да. Что вы думаете?

– Что же я могу думать? Знаю я теперь, что вам захотелось школу завести; ну и заведете. Я и буду знать, что вот захотела и завела школу. Больше я ничего не знаю, следовательно и думать мне тут не о чем.

– А если я попрошу вас подумать, сказала Марья Николаевна, слегка покраснев.

– Это еще не резон, – садясь напротив нее ответил Рязанов. – Почему школа, для чего школа, зачем школа – ведь это все неизвестно. Вы и сами-то хорошенько не знаете, почему школу нужно заводить. Вот вы говорите полезно. Ну, и прекрасно. Да ведь мало ли полезных вещей на свете. Тоже и польза-то бывает всяческая.

– Стало быть вы находите, подумав, сказала Марья Николаевна, что я не гожусь на это дело?

– Ничего я не нахожу. Как же я могу судить о том, чего не знаю?»

Вот вам, читатели, прекрасный образчик, как относятся люди, подобные Рязанову, считающие себя очень умными и другими считаемые за таковых, – к женщине, когда она, в порыве откровенности, решается обратиться к ним с каким-нибудь дельным и серьезным вопросом. Вместо того, чтобы постараться дать на него ответ сколько-нибудь соответствующий вопросу, или

просто и без ужимок сознаться, что «я мол, в этом деле такой же профан, какой и ты», они играют фразами и озадачивают ее теми же самыми вопросами, за разрешением которых она-то именно и обратилась к ним.

«Для чего школа, зачем школа, почему школа. – Вы и сами-то хорошенько не знаете, почему именно школу-то нужно заводить». О, удивительная догадливость! Да если бы она знала, так не стала бы она говорить с ним об этом. Она не знает, она хочет знать, а он тычет ей в глаза ее незнание и отделяется глупыми и совершенно неуместными шутками: «знаю я теперь, что вам захотелось школу завести, ну и заведете. Я и буду знать, что вот захотела и завела школу. Больше ничего я не знаю, следовательно и думать мне тут не о чем». – Вот это-то и жалко, что думать тут не о чем; вот это-то и показывает всю несостоятельность, всю глупость этого ходульного героя. Если бы таким образом говорил какой-нибудь добродетельный филистер, какой-нибудь Щетинин, или узколобый защитник женского бесправия и ограниченности, тогда это было бы понятно, тогда мы ни единым словом не упрекнули бы его, а только осудили бы женщину, вступившую с ним в интимный разговор. Но так говорит человек, который считается выше и умнее окружающих его людей, который пользуется репутацией либерального представителя молодого поколения, – которого многие не прочь отнести к типу «новых людей». Женщина имела полное право ждать от него искреннего ответа и разумного слова. А он издевается над нею, он еще более спутывает ее мысли и наотрез отказывается вывести ее из лабиринта мучащих ее сомнений.

Таким образом, второй раз отвергнутая людьми, к которым она имела, по видимому, полное право обратиться за советом, Марья Николаевна старается выйти из своего мучительного положения без посторонней помощи, – полагаясь только на свои собственные силы. Она опять передумывает свое решение насчет школы и приходит к убеждению, что школа не удовлетворит ее, не наполнит всей ее деятельности, что это не то «великое настоящее дело», к которому она стремится. Школа не вырвет ее из той пошлой, мещанской обстановки, которою окружила ее гнетущая заботливость мужа. Она решается уехать от него, разом и навсегда порвать связи, приковывающие ее к мещанской жизни, и начать новую, лучшую, человеческую жизнь. – Добродетельные и благоразумные филистеры конечно должны назвать ее за подобное решение женщиною вполне безумною. Расстаться с спокойным прозябанием, бросить привольную, деревенскую жизнь, бежать в незнакомые места, к незнакомым людям, не имея в виду ничего верного, ничего определенного, – разве это не безумие! Разве подобную штуку мог бы выкинуть человек, понимающий свои настоящие интересы и дорожащий своею репутациею? Мы согласны с вами, добродетельные и благоразумные люди, что никто из вас такой штуки никогда бы не выкинул. Но вот этим-то вы и отличаетесь от новых людей, от новых женщин. Стремление к «великому делу» – стремление жить настоящею человеческою жизнью», посвятить себя истинно-разумной человеческой деятельности так сильно в них, что заглушает голос узкого, личного эгоизма и уничтожает в прах всякие благоразумные соображения, насчет личного комфорта, спокойствия и т. п. – Марья Николаевна, раз убе-

дившись, что среди той обстановки, в которой она жила, не у кого искать спасительной соломинки, что при той сфере деятельности, которая доступна ей была в деревне, она ничего не в состоянии сделать, – решается переменить обстановку; она не знает еще, что выйдет из такой перемены, она не знает, какая жизнь ждет ее впереди, она не имеет понятия ни о людях, которые ее там встретят, ни о той деятельности, которая ей там может представиться; – она идет ощупью; она бросается вперед инстинктивно, бессознательно, надеясь найти там желанный выход. Может быть, она опять ошибется, как ошиблась в Щетинине, как ошиблась в Рязанове; может быть, вместо ожидаемого выхода она наткнется на новый подводный камень; но что же делать? Зачем же вы заставляете ее играть в жмурки, зачем же вы не хотите снять повязки с ее глаз? Не вините ее за то, что она не может привыкнуть к потемкам, за то, что ей тесно и душно в герметически закупоренном чулане, за то, что она хочет света и свободы!

Марья Николаевна, задумав уехать от мужа, спешит сообщить об этом решении Рязанову, полагая, вероятно, что он несколько поумнел после разговора о школе. Но, разумеется, такое предположение не могло оправдаться. Рязанов остался все тем же недалеким и пустозвонным человеком, и в своем последнем разговоре с Щетининым он выдержал свою роль с прежним искусством и знанием дела. Неизвестно, в силу каких соображений, – просто, потому, вероятно, что «на безводье и рак – рыба, на безлюдье и Фома дворянин» – Марья Николаевна считала Рязанова за нового человека, делающего какое-то хорошее дело и способного на все прекрасное и великое. Этот взгляд был с ее стороны весьма естествен и понятен, с одной стороны она еще очень мало знала людей, с другой, она никак не могла допустить, чтобы человек умный и честный, каким выдавал себя Рязанов, мог не иметь в виду никакой высокой цели, мог ничего не делать и ни к чему даже не стремиться. Не чувствуя в себе достаточно силы самой проложить себе дорогу, самой, по собственной инициативе, начать делать «великое дело», она думает, нельзя ли ей как-нибудь примазаться к Рязанову и работать вместе с ним; она надеется, – не даст ли он какого-нибудь разумного совета насчет ее деятельности, не укажет ли он ей цели в жизни. Но, как и следовало ожидать, она жестоко обманывается, и ходульный герой разгоняет ее иллюзии самым грубым и бесцеремонным образом. Когда Марья Николаевна просит его помочь ей, уверяя, что она, хоть в чем-нибудь, да поможет ему, – Рязанов останавливает ее излишним вопросом: в чем же? – Как в чем?! С удивлением спрашивает его Щетинина; она думала, что он-то именно и должен ответить ей на этот вопрос, за этим она и пришла к нему и разговор об отъезде завела. К несчастью она только не умела прямо поставить вопроса; он воспользовался этим, и своим неожиданным, «в чем же?» – окончательно смутил и сбил с толку наивную женщину.

«Подумали ли вы», продолжает он ее озадачивать ее же собственными вопросами, «подумали ли вы, в чем это мы с вами помогать будем друг другу, и какое это такое занятие вы нашли, я не понимаю хорошенько. Учиться

что ли мы будем друг у друга, или так просто жить?.. Да нет; постойте! прежде всего вот что: вы-то, собственно, зачем вы едете?»

Этот вопрос, кажется, должен бы был окончательно разочаровать Марию Николаевну в ее герою; и показать ей, что этот герой точно такой же несообразительный и узколобый филистер, как и ее благоверный супруг. Ей бы следовало прекратить с ним всякий разговор об этом предмете, и отвернуться от него с холодным презрением. Но она сама тоже отличалась большою несообразительностью и наивностью, потому она не прервала разговора и не отвернулась с презрением, а сочла нужным категорически отвечать на глупый вопрос своего глупого собеседника. «Хорошо, я вам скажу», отвечала она ему, – я еду для того, чтобы начать новую, совсем новую жизнь: мне эта опротивела; эти люди мне гадки, да и вся эта деревенская жизнь. Я могла здесь жить до тех пор, пока я еще ждала чего-то, одним словом пока я верила: теперь я вижу, что больше ждать мне нечего, что здесь можно только наживать себе деньги, да и то чужими руками. К помещикам и ко всем этим хозяевам я чувствую ненависть, я их презираю; мужиков, мне, конечно, жаль, но что же я могу сделать? Помочь им я не в силах, а смотреть на них и надрываться я тоже не могу. Это невыносимо. Ну, скажите же теперь, ведь это правда? Ведь незачем мне больше здесь оставаться? Да?» Рязанов не мог с этим не согласиться, однако, через несколько секунд, он снова озадачивает ее вопросом: «Зачем же вам хочется туда?» «Что вас влечет dahin, dahin? Уж не думаете ли вы серьезно, что там растут лимоны?» И на этот не менее глупый вопрос Мария Николаевна находит необходимым дать ответ, ответ, который, конечно не мог удовлетворить такого тупоумного человека, как Рязанов, который, вероятно, вызвал бы улыбку сожаления на серьезных устах филистера, но который каждый здравомыслящий человек назовет вполне удовлетворительным и вполне основательным.

– «А знаете ли, в самом деле – отвечает она Рязанову, – как я представляю себе, что такое там? Я всегда воображаю себе, что там где-то живут такие отличные люди, такие умные и добрые, которые все знают, все расскажут, научат, как и что надо делать, помогут, примут всякого, кто к ним придет... одним словом, хорошие, хорошие люди...»

Надежда на хороших людей, которые «все знают, все расскажут», эта надежда, как она ни неосновательна, как она ни часто обманывает женщин, все же это для них пока единственное утешение. Не имея своей собственной инициативы, не имея силы самолично справиться с жгучими вопросами жизни, не умея определить цели для своей деятельности и выбрать средства, годные для ее достижения, она естественно все свои надежды должна полагать на постороннюю помощь. Но где же ей искать этой помощи, как не у людей, которые, по-видимому, имеют все данные для того, чтобы быть хорошими помощниками? Одушевленные одинаковыми стремлениями с стремлениями «новых женщин», имеющие возможность, юридическую и фактическую, осмыслить, рационализировать эти стремления и приурочить их к определенному «делу», они должны бы, кажется, оправдать вполне надежды женщин. Но в большей части случаев они их обманывают; в большей части

случаев женщина, с своим бессознательным стремлением «к великому делу» оказывается гораздо выше и лучше их – действующих всегда сознательно и осмысленно. Выше мы намекнули, что причину этого явления следует искать в обстановке, в условиях жизни, окружающих мужчин и способствующих необыкновенно быстрому превращению их из типа новых людей в тип филистеров. Новые женщины уже начинают это понимать; за речью, полную огня и энергии, они начинают уже подмечать в них холодный индифферентизм, за их громкими фразами они умеют высмотреть пустоту и мелочность содержания; противоречие между их делом и их словом начинает вызывать у них критическое отношение к этому ложному положению. В таком виде представляются нам женские типы, выведенные в романах гг. Марко-Вовчка и Авдеева. Нашли ли они себе какой-нибудь новый выход, или, подобно героине «Трудного времени», думают только о том, как бы «примазаться» к какому-нибудь мужчине и действовать всегда только с ним и через него? А если они додумались до чего-нибудь другого, – то насколько удовлетворительно это другое, и насколько оно представляет действительный выход из их положения? За ответом на эти вопросы прежде всего обратимся к *Живой душе*, – к героине последнего романа г. Марко-Вовчка.

«Дело», 1868 г., № 9 П. Ткачев

IV

Маша (Живая Душа) росла и развивалась при условиях в высшей степени благоприятных и, даже можно сказать, исключительных. Из того, что автор заставляет ее вспоминать в начале романа, можно видеть, что детство она прожила самым мирным образом, под крылышком нежно-любящей ее матери, в деревенской глуши, где ей была предоставлена полная свобода гулять, бегать, читать, думать и мечтать. Любовь окружающих людей, полная свобода, уединение и книги, отсутствие нужды и всех тех бесчисленных дрязг и неприятностей, которые являются всегда ее неизбежным следствием – разве такая обстановка выпадает на долю многих из наших женщин? Не трудно понять, как должна была она отразиться на характере девочки: уединение должно было развить в ней некоторую мечтательность и сосредоточенность; а свобода и симпатии окружающих лиц должны были поселить и укрепить в ней любовь к самостоятельности, развить некоторую нежность сердца, чуткость и впечатлительность души. Когда ее мать умерла, ее взяла к себе на воспитание одна богатая родственница, которая тоже старалась окружить ее жизнь самыми благоприятными условиями для ее психического и физического развития «и здесь, у этой богатой родственницы жизнь ее, – говорить автор, – была почти такая же точно, как там дома, почти то же давала для развития: *хорошую библиотеку, удаление от светской пошлости, природу: прибавились красноречивые разговоры, увлекательные проповеди*». Правда, здесь было менее элементов, действующих на нежную, симпатическую сторону человека, зато здесь было несравненно более условий, способствующих развитию ума, возбуждающих мысль. У родственницы собиралась вся интеллигенция города, у ней устраивались литературные вечера, на которых чита-

лись очень умные и либеральные книги (судя по отзывам действующих лиц); и велись (судя по отзывам автора) очень умные и даже либеральные беседы. Эти беседы и книги из *хорошей* (по уверению автора) библиотеки должны были дать героине богатый умственный материал, а праздная досужая жизнь с одной стороны и, с другой, рано развитая склонность к уединению и мечтательности, склонность еще более укрепившаяся в ней в доме богатой родственницы, где она чувствовала себя более или менее чуждой, – давали ей полную возможность вполне усвоить этот материал, переработать его и сделать из него ясные и определенные выводы.

Таким образом обстановка, среди которой росла героиня романа, должна была образовать из нее женщину сознательно-мыслящую, развитую, с определенными убеждениями. С другой стороны, положение ее в доме родственницы, хотя в материальном отношении и не оставляло ничего лучшего желать, было все-таки положением зависимым и потому непрочным, необеспеченным. Оно не могло ее удовлетворить, потому что оно противоречило развитому в ней, при других условиях, стремлению к самостоятельности, стесняло ее свободу, сковывало ее по рукам и по ногам цепями, правда, цепями, обвитыми шелком и украшенными розами, но все же цепями. Маша тяготилась своим положением, и уже в самом начале романа она высказывает твердое намерение покинуть дом богатой родственницы и поставить себя в те условия жизни, в которых она, по естественному ходу вещей, должна была стоять, если бы только не вмешалась сюда барская филантропия Надежды Сергеевны (богатой родственницы). Но эта барская филантропия, вмешательство которой было необходимо не столько для самой сущности дела, сколько для посторонних целей романа, – нисколько не изменила социального положения Маши. Она все-таки осталась, по-прежнему, пролетарием, не имеющим никаких других ресурсов к существованию, кроме собственных рук и головы, кроме личного труда, – пролетарием, случайно попавшим на барские хлеба.

Маша была настолько развита, что могла это понять, а раз поняв, она не могла не почувствовать всей ненормальности своего положения, не могла не стараться выйти из него. «Сначала», говорить она в разговоре с гувернанткой, Ольгой Порфиоровной, – «я как-то пала ниц, ни на что не глядела, ничего не искала, только мучилась, а потом приподнялась и стала выхода искать.

– И нашла? – спрашивает гувернантка.

– Почти.

– Какой? Да вы что-то задумали, Marie! Что вы задумали?

– Я задумала поступить учительницей куда-нибудь.

– Учительницей? Вы? Так это вот для чего вы все учитесь с утра и до вечера?

– Да.

Ольга Порфировна, услышав такой ответ, удивляется и недоумевает. Променять довольную жизнь в барском доме на жизнь труженика, жизнь, полную всяческих лишений – как это должно быть странно и непонятно для филистеров. Потому для них не может быть понятным и стремление новых людей к независимости, к созданию себе самостоятельного положения, хотя

бы даже эта независимость, эта самостоятельность выкупались ценою бедности, нищеты и лишений. А между тем и это стремление новых женщин так же естественно и так же реально, как и их стремление к «великому настоящему делу». Человек, поставленный в условия жизни пролетария, т.е. не имеющий других источников, кроме личного труда, и завоевывающий личным трудом свое обеспечение, должен почувствовать гордость и уважение к самому себе. Эта гордость и самоуважение заставляют его ревниво охранять свою самостоятельность; заставляют его соглашаться лучше на существенные материальные пожертвования, чем подчиняться чьему бы то ни было произволу, чьей бы то ни было зависимости. Эта благородная гордость и это вполне основательное самоуважение заставляют новых женщин искать труда вне дома родителей, родственников, опекунов и благодетелей, гонит их из тесного домашнего угла, в котором филистер так хорошо умеет свить себе уютное гнездышко, – в те неприветные, рабочие углы, где их ожидает и холод и голод и всяческие лишения и всяческая нужда. Филистеры ополчаются на них за это и, верные своему обыкновенному методу мышления, объясняют это непонятное для них бегство новых женщин от теплого домашнего очага, от дарового (по их мнению) домашнего стола, – детскою нерасчетливостью и глупым фантазерством. Такое объяснение, в свою очередь, можно объяснить только крайним невежеством филистеров по части психологии и совершенным непониманием характера новых женщин.

Итак, Маша – пролетарий по условиям своего социального существования, но пролетарий, развившийся при особенно счастливых, благоприятных обстоятельствах, – поставлена автором в такие условия, при которых из нее должен бы был образоваться идеальный тип новой женщины. Автор, по видимому, и смотрит на свою героиню, как на такой тип. Так и мы отчасти смотрим на нее, потому что мы замечаем в ней много черт, присущих характеру новой женщины. Но только *отчасти*. Рядом с чертами нового типа в ней просвечивают черты и другого характера, – характера барышень, выросших в душной атмосфере самодовольного филистерского прозябания. По всему видно, что автор не в силах совладать с новым типом, что он выше его понимания, что буржуазная тенденция и филистерские взгляды на жизнь так глубоко засели в собственную душу романиста, что он не мог не уделить частички их и «Живой душе», своей героине. Но прежде, чем мы будем говорить об этих буржуазных чертах характера Маши, укажем на те особенности «Живой души», которые делают из нее «душу новой женщины».

На одну из этих особенностей мы уже указали. Маша не удовлетворяется тем, чем бы на ее месте удовлетворилась всякая *барышня*, воспитанная на крепостных хлебах. Живет она в холе и довольстве, ее любят, ее не особенно стесняют, у нее много услужливых знакомых обоего пола, у нее есть, наконец, жених, первый богач в городе, красавец собою, влюблен в нее до безумия. Но всего этого мало. Она недовольна своею жизнью, она недовольна собою, она недовольна окружающими ее людьми. Она настолько лучше и развитее их, что понимает всю их мелочность и пустоту, всю мизерность их целей, всю бесплодность их стремлений и словопрений: она, как и прообраз ее

Марья Николаевна Щетинина, хочет действовать, – хочет делать «настоящее дело». Ей надоела баловня, ей надоели сборы на приготовление к чему-то очень важному, – сборы и приготовления, которые весь век остаются одними только сборами и приготовлениями.

– Разве вам будущее не кажется светло и хорошо? спросил ее однажды Михаил Яковлевич, тот самый богач и красавец, который пламенел к ней любовью. А она ответила ему на это:

– Все будущее – а настоящее? Все сборы одни! (Ч. I).

А ей нужно было самого дела.

На первых же страницах романа автор заставляет ее высказать публике свои воззрения на окружающих ее людей, на их цели и стремления. А так как эти воззрения в высшей степени характерны для определения собственных стремлений героини, то мы считаем нужным напомнить их здесь нашим читателям. «Есть конец чтению всякой книги, – пересказывает автор мысли Маши, – не всегда удовлетворяет природа: и к чему ведет самый красноречивый разговор? Он ведь должен к чему-нибудь вести? Можно ли одну и ту же книгу все читать сначала? Можно ли разговаривать все об одном и том же? Все эти знакомые лица – чтимые люди, за всякого она ухватывалась, во всякого всматривалась с сомнением и надеждою, и всякого печально выпускала, сама очень удивленная и глубоко огорченная. Надежда Сергеевна ее родственница, она добрая и развитая женщина, понимает всякие тонкости, – да, все это так, но сколько вопиющего во всем разлада. Отчего же это? как может, *почему* может человек искренно оплакивать пошлости и не позже как через час впадать в худшие? что ждет других? Полиньку, например, что ждет ее самого лучшего? Выучится понимать высокие вещи, читать умные книги, знать будет, что свет пуст, что люди слабы и ничтожны, что женщины осуждены страдать, особенно тонко будет понимать любовь, особенно тщательно будет ее искать, из любви у ней разыгрываться будут драмы; кончится любовь грустно – на всю жизнь задаст ей горя безысходного, беспомощного; кончится любовь весело – счастье вместе с собою подарит каким-то застоєм, каким-то усталым равнодушием... как случилось вот с такою-то, .. или такою-то... А Ольга Парфировна? целый век проведет в том, что будет угомонять свои горькие чувства, считать свои уязвления и жертвы, принесенные добродетели, как все признанные, но ничем не награжденные страдальцы? А Павел Иванович? Все будет говорить, говорить, – говорить и только? все собираться куда-то? все не нынче – завтра? А Камышева? Что даст ей ум и ее сильный характер? Неужели только одну славу, что была умна и характерна, и что ум и характер прошли бесследно, как и пройдет ее красота? А тот, кого ей прочат в мужья, Михаил Яковлевич? Что он такое? Он и умен и честен и великодушен и даже тверд и стоек: молодой, очень богатый, он не шел по дороге молодых богатых людей, он, кажется, достоин и любви и уважения и всего хорошего, что ей мешает предаться ему душою? Что? Она долго всматривалась в это лицо, старалась вычитать, что скажут эти хорошие, красивые глаза. Глаза глядели на нее, как всегда с любовью и, казалось, говорили: «мы добрые глаза, мы честные. Вот наша жизнь: мы плакали от такой грусти, от стра-

стной своей тоски, все по своим домашним делам, а что за воротами творится, мы хотя то соображали и тем сокрушались, но не до горечи, не до той жгучей горечи, которая мешает вольно дышать, – мы добрые, но простые глаза! А маленькая Катя? И она ведь как-то стала обращать свой ум больше на капризные выходки, и она стала как-то утучняться и уже иногда глядела каким-то сонным взглядом». Таким образом все, за что Маша ни бралась, оказывалось несостоятельным и никуда не годным. А между тем каждый из названных ею знакомых считался в своем кругу за человека во всех отношениях порядочного и даже недюжинного: каждый из них в действительности и был порядочным и недюжинным человеком с точки зрения филистерской морали. Все они были не глупы, не бесчестны, платков из карманов не таскали, всему прекрасному сочувствовали, против дурного мысленно и даже словесно возмущались, вдов и сирот не грабили, денег в рост не давали, никого, по-видимому, не обижали и не задевали. Чего же лучше?

Но Маша понимала, что все эти прекрасные свойства их души были прекрасны только в их глазах, что, в сущности, это были пустоцветы, без семени и запаху, что от них никому не могло быть ни тепло, ни холодно. Что толку в их уме, в их честности, в их благородных намерениях, если и этот ум и эта честность исключительно только обращаются на достижение узкоэгоистических, себялюбивых целей, если эти намерения на веки вечные останутся одними только намерениями и никогда не осуществляются в жизни. Она удивляется, как могут они примирять свои возвышенные стремления с тою пошлою мещанскою жизнью, которую они сами себе устроили. Она негодует на них за то, что они слишком пассивно, слишком вяло относятся к тому, «что за воротами творится»; что они «хотя об этом соображают и сокрушаются, но не до горечи, не до той жгучей горечи, которая мешает вольно дышать». Иными словами, она сердится на них за то, что они себялюбивые и самодовольные мещане, насквозь проникнутые стремлением обеспечить свой личный комфорт и в этом ничтожном комфорте усматривающие единственную цель, единственную задачу своей жизни. Маша очень хорошо понимает, что жизнь, преследующая подобную задачу, не может дать большого счастья; что она будет *скучною, пустою* жизнью. Мало того, она думает, что даже любви, – любви, этого неисчерпаемого родника всяческих утех и наслаждений, этого возвышенного, божественного чувства, этого лучшего украшения человеческой жизни, по понятиям всех благомыслящих филистеров, – даже любви недостаточно для того, чтобы сделать человека счастливым. Счастье, которое дарит любовь, всегда сопровождается, по ее мнению, «каким то застоем, каким то усталым равнодушием». «Ну, положим, думает она, полюблю я, выйду замуж и найду самое завидное, как говорят, счастье. Но что это такое, это так называемое завидное счастье?»

Таким образом, новых женщин не удовлетворяет ни любовь, ни счастье филистеров, ни их узкая, эгоистическая деятельность. Критически относясь к окружающей их обстановке, они стремятся перенести эту критику из слова в дело. Но как приняться за это дело, и в чем оно должно состоять? – Вот тот роковой вопрос, над разрешением которого тщетно ломала себе голову Ма-

рья Николаевна Щетинина и который наводил и на Машу тоску и отчаяние. Героиня «Живой души» как и героиня «Трудного времени», думала услышать ответ на него от своих знакомых мужчин; только она обратилась к ним с требованиями более определенными, более ясно сформулированными. Она хотела, чтобы ей указали на такую деятельность, которая привела бы к уничтожению всего того, что мучило и стесняло людей, что их давило и опошляло, всего, что было в жизни дурно, несправедливо и дико. Притом она хотела, чтобы ей показали эту деятельность не в принципе, не в теории только; а на практике, – она искала только деятеля, у которого слово соединялось бы с делом. – Жених ее, Михаил Яковлевич, по уверению романиста и героини романа (хотя из самого романа этого не видно), был умен, добр и честен – но, увы! он вместе с этим отличался слишком благодушным филистерством для того, чтобы он мог удовлетворить Машу. Маше он нравился, – быть может, она немного даже любила его, она считала его самым лучшим человеком из всех своих знакомых. Для обыкновенной барышни всего этого было бы вполне достаточно, чтобы ни мало не колеблясь отдать свой руку и сердце этому богатому, красивому, умному и, вдобавок, еще пламенному обожателю; барышня не задумываясь ответила бы «да» на его: «согласны ли вы быть моей женою»? И она поступила бы весьма благоразумно, и всякий благомыслящий человек одобрил бы ее выбор, и даже позавидовал бы ей. Но Маша ответила «нет», и отказалась делиться рукою и сердцем с человеком, которого она, без сомнения, немножко любила. По крайней мере, на его вопрос: Вы меня не любите? она затруднилась дать положительный ответ и ответила очень условно и очень политично: «Вероятно нет, хотя вы мне дороги... очень... Я никого не знаю лучше вас... и вы мне всех ближе... но... но... я желаю чего-то невозможного, необыкновенного... я сама не знаю, отчего я не соглашаюсь быть вашею женою...» Но после этого деликатного отказа, она весьма категорично, хотя и не совсем связно, объясняет ему настоящую причину: «То, продолжает она, – на что все у нас собираются только в будущем, мне кажется может быть теперь в настоящем... Не надо только глядеть со стороны, а надо взяться. Я вас очень люблю, но я не согласна быть вашей женой... Я хочу другой жизни, совсем другой, – жизни настоящей, не на словах, не то, чтобы трогало только и волновало, не то, чтобы только голова болела от мыслей, а чтобы тело все ныло, как у настоящего работника от настоящего труда... чтобы не сидеть калекою при дороге... не лежать камнем... Я хочу этого, вправду хочу... Не то, чтобы пожелать, да и ждать, хочу, как голодный хлеба, – теперь, сейчас, только о том и думаю...»

Поняв в чем дело, Михаил Яковлевич думал доехать ее красноречием. Автор даже не передает того красноречия, а просто объявляет, что «он заговорил и долго говорил». Говорил он ей «о ее стремлениях и условиях», «о возможности иной жизни»; «об удушающей среде», «о подавляемых добрых силах», «о тяжести борьбы в одиночку», «о страшном, нравственном усыплении общества». Автор заверяет нас, что «он говорил очень, очень хорошо; за каждым его словом можно было кричать: «Правда! Правда!» Красноречие его трогало и волновало Машу: один раз она даже готова была протянуть ему

руку «с решимостью отдаться этой любви», но в эту критическую минуту в ней сказался характер новой женщины. «Вы все это знаете, и до сих пор... я все-таки не могу понять, как вы могли так жить до сих пор, проговорила она, остановилась, помолчала и прибавила: «зачем вы...» и не кончила фразы; но мы кончим за нее: «зачем вы, милый человек, – должна бы она ему сказать, – с таким циническим самодовольством оплевываете свою собственную особу? Неужели вы не понимаете и не догадываетесь, что человек, который видит и даже чувствует страдания своих ближних, который видит порождающая их причины, который знает, что причины эти устранимы, знает и то, каким образом их можно устранить, и который, однако, ничего не делает и не предпринимает для их устранения, который сидит сложа руки и равнодушно смотрит, как люди мучаются, борются, падают и погибают, – что такой человек вполне заслуживает названия, по меньшей мере, идиота. А если он еще осмеливается плакаться и пускаться в красноречивые сожаления по поводу меньшей братии, – то он к своей трусливой гадливости присоединяет нахальное лицемерие. Человек действительно, а не поддельно, скорбящий о меньшей братии никогда не станет относиться с тою пассивностью, с тем барским индифферентизмом, с каким вы к ней относились, потому что вы до сих пор пальцем о палец не пошевелили, чтобы улучшить положение бедной братии. Вы говорите, будто один – в поле не воин. Вздор, это пустая отговорка. Если вы раньше других увидели пожар, неужели вы будете сидеть сложа руки, оправдывая свое бездействие тем, что, мол, один пожар не затушишь? Нет, вы должны кричать, звать на помощь, и если помощь не явится, вы должны употреблять все от вас зависящая меры к прекращению пожара. Может быть, эти меры останутся бесполезными и вам не удастся потушить огня, но вы все-таки должны попытаться. В противном случае, на вашу ответственность падет дальнейшее распространение пламени. Вас будут даже судить как соучастника в поджогах, если окажется, что первоначальной причиной пожара был поджог?»

V

Не удовлетворенная окружающею ее действительностью, не будучи в силах помириться с мелкими целями и пошлыми интересами филистерского существования, стремясь к широкой, человеческой деятельности, к «настоящему» делу, и не находя никого, кто бы мог указать ей это дело, ввести в эту деятельность. – Маша скучала, томилась и страдала.

Объясняя таким образом тоску и томление Маши, мы основываемся на ее собственных мыслях и на ее разговорах с Михаилом Яковлевичем, цитированных нами выше. Но автор романа не вполне с нами согласен: он объясняет тоску своей героини совершенно иначе и объясняет именно так, как бы объяснил ее любой из самых тупоумнейших филистеров. По его мнению, Маша скучала оттого, что она чувствовала потребность любить и не находила предмета, достойного своей любви. Повествуя о сомнениях и недоумениях, мучивших его героиню, он говорит. «Да, хорошо бы было, если бы прошли все эти недоумения и сомнения; а на их место одна бы любовь... Любить ко-

го-нибудь, любить до того... до того, чтобы приклониться к его плечу усталой головой и вдруг глубоко почувствовать всем существом своим, что жизнь, несмотря на все беды, напасти, противоречия и непрочность, все-таки несравненное благо и т. д. (ч. I). И это говорит не автор от себя, – нет, он уверяет нас, будто так думает его героиня. Как, неужели так думает та самая Маша, которая, за несколько страничек перед этим, скептически относилась к блаженству любви и сожалела женщин, видящих в ней все свое счастье, которая с сомнением спрашивала себя: «ну, положим, полюблю я, выйду замуж, и пойдет самое завидное, как говорят, счастье. Но что это такое, так называемое завидное счастье?». И теперь эта же самая Маша говорит, «будто только тогда поймешь, что жизнь благо, когда полюбишь, будто любовь избавит ее от всех ее сомнений, недоумений, решит все ее нерешенные вопросы, покажет ей, где тот клад, который она не находила нигде». Очевидно, что автор не понял того типа, который он вздумал изображать. Ему удалось уловить только некоторые его черты, – он воспроизвел их довольно верно, но это его не удовлетворило и он счел своим долгом подмалевать их своею суздальскою кистью. Он думал, быть может, что этими самодельными красками он поправит и украсит картину, но, на самом деле, он ее исказил и обезобразил, сам того не видя, поступив в этом случай как тот известный маляр, которому поручено было вычистить дорогую копию с Рафаэлевской Мадонны. Вычистив ее, маляр на этом не остановился; ему показалось, что все-таки Мадонна не так хороша, как бы она должна быть: и вот он начал поправлять Рафаэля: вздернул немножко нос, укоротил губы, подкрасил волосы, и что же? вместо прелестной Мадонны на картине очутилась какая-то невообразимая уродина, как две капли воды похожая на законную супругу остроумного маляра. Почти такую же точно операцию произвела и г-жа Марко-Вовчек над не понятым ею типом новой женщины.

Девушка, скучающая о том, что не находит себе предмета любви, видящая в любви примирение и разрешение всех своих сомнений и недоумений, мечтающая о том, «как бы прилечь усталою головкою к плечу» какого-нибудь мужчинки: – такая девушка не имеет ничего общего с новою женщиною. Это *барышня*; это милый *цветок*, возросший на почве буржуазного прозябания, это «небесная радость и утешение» филистерского очага; это – все, что хотите, но это не та мыслящая и энергическая женщина, которая выработала свой характер под влиянием указанных нами в начале статьи социальных и экономических условий своего существования. Близорукие глаза филистера легко могут смешать оба характера, потому что, по своим внешним проявлениям, они во многом сходны. Барышня так же точно скучает, ноет и томится, как скучает, ноет и томится и новая женщина; так же *чего-то* ищет, к *чему-то* стремится, и очень любит помечтать об этом неопределенном *нечто*, особенно в уединенном саду, да еще при свете луны. Сначала она тоже никак не может дать себе отчета, что это за «нечто», хотя она уже инстинктивно понимает, где его нужно искать, и потому никакими знакомствами с мужчинами не брезгает. Вот ей приглянулось смазливое личико, она услышала прозаические вариации на тему: «ты для меня душа и сила», и всякая неопреде-

ленность в этом «нечто» исчезает, и мечта принимает вид какого-нибудь франтика в кепи, или франтика в цилиндре, смотря по обстоятельствам. Безотчетная тоска и томление превращаются в весьма определенную и сознательную тревогу: любит ли? женится ли? А когда, наконец, и на эти мучительные вопросы получится успокоительный ответ, когда барышня наглядным образом убедится, что ее «любят и женятся», тогда время нытья, скорби и сокрушения исчезают сами собою и на их место, является радость, веселье, поцелуи и счастливый брак.

Тоска же и безотчетное стремление новых женщин, как мы объяснили выше, обуславливаются совершенно другими причинами, другими мотивами. Эти мотивы так же реальны, так же естественны и так же могущественны, как и те, которые лежат в основе мечтательного идеализма скучающих барышень. Они выработались под влиянием тех новых экономических условий жизни, в которые поставлена современная женщина наших средних интеллигентных классов.

Смешивать эти две совершенно различные категории мотивов так же нелепо и неосновательно, как, например, смешивать отношения к окружающим явлениям молодого поколения и отживающего поколения старцев-идеалистов. И молодое поколение недовольно окружающею его действительностью, и старики-идеалисты недовольны ею; и те и другие относятся к ней отрицательно, но какая разница между взглядами тех и других. Первые сознательно смотрят на окружающую их действительную жизнь, требуют от нее не «сладких вздохов и молитв», а реального и определенного удовлетворения своим человеческим желанием, ищут в ней труда и содержания, а не пустоты и милого бездельничанья. Иначе смотрят на жизнь молодые старцы, и старые юноши, которые ноют и брюзжат от пресыщения, от романической скуки, в которую драпировались самодовольные откупщики, прикидываясь чуть не Манфредами. Смешивать эти два, по внешним своим признакам, весьма схожие отношения с явлениями окружающей жизни – называть безразлично и то и другое критическим отношением к действительности, повторяем опять, могут только люди крайне недалеконидные, люди не понимающие ни истинного смысла деятельности и направления молодого поколения, ни истинных причин и мотивов, под влиянием которых брюзжат и негодуют разочарованные от объедения старцы. Точно так же не понимают ни сущности характера новых женщин, ни существенных отличий его от типа барышни и те, которые, подобно автору «Живой души», смешивают причину тоски и неудовлетворенности первых с причинами тоски и неудовлетворенности вторых.

Но буржуазные поползновения автора романа не ограничиваются тем только, что он заставляет свою героиню мечтать о любви и о «плече» своего предмета, подобно наивной барышне, только что выпущенной из Смольного института; он и действовать-то ее заставляет, как настоящую институтку; он делает ее героинею пошлейшего из пошлейших мещанских романов.

Маша, несмотря на все благоприятные условия своего развития, сама, по собственной инициативе, была не в силах разрешить мучившего ее вопроса:

что делать и как делать? Она думала найти ответ на него в деятельности знакомых ей мужчин, но ничего не нашла, кроме бесплодного фразерства и столь же бесплодного топтания на одном месте. Это обстоятельство, как мы видели, приводило ее в уныние, и бог знает чем бы кончилось это уныние, если бы автор не послал ей, в лице Загайного, такого именно человека, какого она искала, – «человека, который соединял слово с делом и который делал настоящее, великое дело.» Встретившись с таким человеком, новая женщина братски протянула бы ему руку и стала бы работать вместе с ним; при этом, на первом плане было бы дело, а любовь и всякие другие посторонние соображения и мотивы отодвинулись бы на второй: их даже могло бы и совсем не быть, это было бы даже и лучше, для того, чтобы попусту не пугать и не смущать непроницательных читателей. Но автор «Живой души» поступил совершенно наоборот. Главный мотив, который должен был бы руководить новою женщиною, он скрыл, а мотив второстепенный и чисто-случайный выдвинул на первый план. Маша отдалась Загайному и стала работать вместе с ним, не потому, что она оценила и поняла всю важность его дела, а просто потому, что она влюбилась в него. Но, может быть, она и влюбилась в него именно потому, что она поняла и оценила всю плодотворность его деятельности, всю великость его дела? Это было бы, конечно, лучше, и значительно смягчило бы мещанский колорит романа, но нет, этого не было. Маша влюбилась в Загайного внезапно, с того самого момента, как она его увидела, прежде даже чем она заговорила с ним, прежде даже чем она узнала, что это за человек, чего он хочет и к чему он стремится. Едва только Загайный вошел в комнату и был представлен Надежде Сергеевне, едва только он произнес: «Мне ваш город знаком, я бывал здесь мальчиком», – Маше, говорит автор, «меч прошел душу» (ч. II 9). Она почувствовала глубокую, дух захватывающую радость и какое-то обаятельное, до сих пор неиспытанное смятение; словно новая, живая волна жизни обхватила ее». – «Всю ночь», повествует далее романист, «она не спала и даже не ложилась, а сидела у окна, подперши голову руками, иногда крупные, тихие слезы катились по ее лицу; ей делалось легко и вольно, как после темницы, на свежем, живительном воздухе и новое незнакомое чувство блаженства разливалось по всему ее существу; иногда она клонилась (?) под этим чувством блаженства, как под громадною, непривычною ношею, и ей казалось, что грудь у нее разорвется от полноты этого переходящего в сладкую, мучительную, почти нестерпимую боль (?), чувства блаженства. *Впервые виденный, но уже драгоценный образ носился перед нею точно весь из огня и света. Она ничего не спрашивала у него, ничего не говорила ему, не разбирала, не рассуждала, она, так сказать, только верила*». Такою беззаветною, безотчетною, такою, можно сказать, чисто животною любовью любят обыкновенно барышни, у которых чувственная сторона преобладает над интеллектуальною. Их, и только одних их – а отнюдь не женщин нового типа, может воспламенить «убийственный» взгляд или «убийственный» бас какого-нибудь усастого и бородатого сердцесокрушителя; новая женщине, да и вообще всякая женщина, скинувшая платье институтки, прежде чем воспламенится любовью к усастому и бородатому сердце-

сокрушителю, пожелает предварительно узнать, имеет ли этот сердцесокрушитель какие-нибудь другие достоинства, помимо усов и бороды. Хотя, конечно, наружность человека, его голос, лицо и т. п. и играют весьма видную роль при возбуждении чувства любви, но нельзя же допустить, будто они имеют значение самых важных, так сказать, решающих моментов. И чем более развита женщина, чем более в ней преобладают интересы и побуждения человека над интересами и побуждениями самки, тем менее подчиняется она влиянию этих моментов, тем *человечнее* относится она к мужчине. Любовь, которой воспылала «Живая душа» к Загайному, не имеет в себе ничего разумного; это любовь животная, любовь, вызываемая не степенью психического развития, не психическими интересами влюбленных лиц, а условиями чисто-физиологическими, которые не могли иметь ничего общего с первыми; мы не отвергаем возможность такой любви между новыми людьми, но мы утверждаем, что она не имеет и не может иметь в их жизни того громадного, всепоглощающего значения, того решительного влияния, какое она имеет и должна иметь в жизни кисейных барышень. И к чему вводить в роман новой женщины эту любовь?

Романисты наши привыкли смотреть на женщину исключительно, как на самку, потому они твердо, непоколебимо убеждены, что чувство любви должно составлять существеннейший и преобладающий интерес ее жизни, они не могут представить себе, чтоб женщина могла иметь какую-нибудь другую цель, кроме цели влюбиться, они не в силах понять, чтобы высшее счастье женщины могло заключаться в чем-нибудь другом, а не в любви; они не в состоянии выдумать ни одного романа, ни одной повести, героиня которой не «пылала» бы и не «пламенела» бы к какому-нибудь герою. Не они, разумеется, выдумали такой филистерский взгляд на женщину – они служат только эхом мнений и взглядов, господствующих на этот счет в нашем обществе.

Романисты и беллетристы, выросшие и воспитывавшиеся среди понятий крепостного быта, от юности своей усвоившие себе воззрения и идеалы мещанского комфорта, не могли изобразить женщин иначе, как в виде вечно-влюбленных героинь. И что это за любовь! Взглянула – и полюбила; прикоснулась – и воспламенилась. И действительно, все произведения этих романистов, поэтические и прозаические, представляют собою только безличные, крайне однообразные вариации на тему: «она увидела и полюбила». – Все это было прежде в порядке вещей, иначе и быть не могло. Но то, что годилось и было вполне естественно и законно при существовании крепостного права, совсем уже не годится и совсем неестественно при новых условиях нашей экономической жизни. При крепостном праве было естественно воспевать сладость барщинного труда, восхищаться идиллией патриархальных отношений господина к рабу, но теперь навязывать обществу идеалы, выработанные крепостнической идиллией, это значит не понимать условий и требований современной жизни, это значит пытаться вернуть общество к крепостному ярму, действовать в интересах отживающей крепостной системы, в духе тьмы, невежества и рутины. Потому мы снова повторим, что автор «Живой

души» не понял характера новой женщины и искажил его самым безжалостным образом. Общая мораль романа та же, что и в разобранных нами прежде (Люди будущего и герои мещанства) романах Жорж-Занд и Андре Лео. Любовь - *все счастье, все блаженство* женщины; без любви ее жизнь полна тоски, скуки и томления, но чуть только «священный огонь» вспыхивает, скука, тоска и томление мгновенно исчезают, цель жизни проясняется, все существование женщины осмысливается – и радости и веселью нет конца. Любовь вселила в Машу бодрость и энергию, благодаря которым она решилась, наконец, порвать узы, связывавшие ее с родственницей-благодетельницей, оставить ее дом и начать трудовую, самостоятельную жизнь пролетария; любовь дала ей силы мужественно переносить лишения и неприятности, которые она встретила в своем незащищенном одиночестве, наконец, любовь же привела ее и окунула, как говорит сам автор, «в целую реку той сказочной, волшебной «живой воды», одними легкими брызгами воскрешающей человека из мертвых и придающей ему такую чудесную силу и крепость, такую живучесть, веселье и бодрость, перед которыми бледнеют и исчезают все житейские страхи и ужасы» (0, Ч. III). Вот какими удивительными свойствами обладает любовь. Это настоящий жизненный эликсир, которым можно разом излечивать все девять египетских проказ. Только пусть в этой «живой воде» купаются праздные, вечно вздыхающие и ни о чем не думающие барышни, а женщины мыслящие не нуждаются в этом любовном эликсире, они и без него сумеют сохранить крепость и силу духа, веселость и бодрость, «перед которыми бледнеют и исчезают все житейские страхи и ужасы».

VI

Теперь мы переходим к одной из героинь романа г. Авдеева «Между двух огней». Конечно, читатель догадывается, что мы поведем здесь речь не о героине № 1 Ольге Федоровне Мытищевой, представительнице высшей породы, которая может сводить с ума престарелых старцев, в роде г. Гогенфельда или г. Камышлинцева – героя романа, но о которой мы ничего не можем сказать, как только то, что она насчет мужского пола слабость маленькую имела. Была ли какая-нибудь надобность воспевать хвалебные гимны этой весьма обыкновенной и отнюдь не героической слабости и стоило ли, ради нее, возводить Ольгу Федоровну в героини романа, об этом мы здесь скромно умолчим, потому что, в свою очередь, не видим ни малейшей надобности заниматься здесь теоретическими воззрениями и идеалами г. Авдеева. Г. Авдеев выразил свое мирозерцание на женщину и разного рода общественные явления во взглядах, мыслях и диалогах своего героя Камышлинцева; взгляды, мысли и диалоги этого героя, в чине титулярного советника в отставке, – блещут таким умственным убожеством, такую неподдельную и непосредственную глупостью, что мы считаем даже всякую полемику с ними делом неприличным и для читателей наших просто обидным. Потому мы проходим их молчанием и останавливаем внимание читателя на героине № 2 – Анне Ивановне Барсуковой.

В Анне Ивановне Барсуковой г. Авдеев силится изобразить одну из «новых». Рисуя этот характер, романист-помещик (помещик по понятиям, разумеется; общественного положения г. Авдеева мы не знаем), хочет как бы отдать дань требованиям современной жизни. Но... *Timeo Danaos et dona ferentes*²¹; дань никогда не платится от чистого сердца, и если дары данайцев подозрительны, то еще более подозрительна искренность человека, решившего воздать должную справедливость тому, чего он не понимает или чему он не симпатизирует.

Действительно, и в романе г. Авдеева, как и в романе г. Марко-Вовчка, новая женщина вышла выкроенною по старой мерке мещанской барышни. Г. Авдеев, надо отдать ему справедливость, не старался исказить и обуржуазить характер новой женщины, подобно автору «Живой души», но он понял его крайне узко, мещански, крайне односторонне. Он схватил только одну его черту, – черту, которая, конечно, всего скорее должна броситься в глаза добродушному буржуа, но которая однако не составляет основной сущности этого характера. Мы говорили уже, что новая женщина, попавшая случайно в условия, противоречащие ее стремлению к свободе и самостоятельности, ставящие ее к окружающим лицам в зависимые, подчиненные отношения, прежде всего старается выйти из этих условий и стать в положение, хотя бы и худшее в материальном отношении, но зато ни от кого не зависимое. Верно подметив эту черту, г. Авдеев вообразил, что в ней одной и заключается вся суть дела и что достаточно изобразить женщину с сильными стремлениями к самостоятельности, женщину, покидающую родительский дом и заводящую швейную мастерскую, одевающуюся скромно, не уважающую роскоши, читающую книжки и носящую башлык, – чтобы и вышла новая женщина. Нет, этого немножко мало. Действительно, новая женщина не терпит пассивной зависимости, она стремится к экономической самостоятельности, она одевается скромно, она не любит роскоши, читает разного рода книжки и носит башлык; но если бы только этим и ограничивались те особенности, которые отличают ее от обыкновенных барышень, то мы бы об ней и не говорили, потому что мы не считаем эти особенности чем-то существенным. Правда, они составляют некоторый прогресс в развитии характера барышни, но они не изменяют его сущности; руководящим мотивом, по-прежнему, остается узко эгоистическое соображение о личном комфорте, удобстве и довольстве. Только там, где этот мотив сменяется другим более человеческим, более разумным стремлением к возможно полнейшему осуществлению счастья всех ближних, стремлением, выработавшимся под влиянием ясно сознанной, прочувствованной идеи солидарности человеческих интересов, только там, только в этом пункте можно провести резкую границу между характером барышни и новой женщины. Перешла или нет эту границу Анна Ивановна – из романа этого не видно, а то, что говорится об ней в романе, не дает нам права делать заключений ни за, ни против.

²¹ Боюсь данайцев и дары приносящих (лат.). – Примеч. ред.

Однако у Анны Ивановны есть то бессознательное стремление к какому-то делу, о котором мы говорили при разборе характера Марьи Николаевны Щетининой. В первом своем разговоре с кретином Камышлинцевым она говорить: «тянет к чему-то, отдалась бы вся чему-нибудь, и не знаешь». На это наивное признание кретин отвечал ей так, как и подобало отвечать крестину: «А еще хуже,» тихо проговорил он, посмотрев на Барсукову, «если и знаешь, да не можешь».

Обстановка, окружавшая Анну Ивановну, и узкая сфера ее деятельности, не удовлетворяла ее. С оттенком худо скрытой иронии отвечает она Камышлинцеву, предложившему ей вопрос: что она поделывала в его отсутствие? – «Да то же, что и прежде. Дома хозяйничаю немножко, да шью. Дарья Степановна иногда присылает, с ней что-нибудь работаю». – «Вы всегда заняты»? – «Почти, я привыкла всегда что-нибудь да делать». – «Счастливая женщина», заметил, как бы про себя, Камышлинцев. Глупее этого замечания трудно что-нибудь и выдумать. Девушка рисует ему картину своей пошлой, однообразной мещанской жизни, а он восхищается ее счастьем! Такая неожиданная глупость должна была, разумеется, сильно озадачить Анну Ивановну. «Я не жалуясь», ответила она своему неловкому кавалеру, «но чему же вы нашли завидовать»? – «Как не завидовать», стал оправдываться герой г. Авдеева, – «дело у вас есть, а главное вы им удовлетворяетесь!» – Барсукова покраснела, такое предположение показалось ей обидным, и она решила вывести своего кавалера, как говорится, на чистую воду. – «Вы находите, может быть», сказала она ему, «что я довольствуюсь слишком малым? Рада бы и большему, да где же и в чем оно? назовите!» И как вы полагаете, что ответил ей этот удивительный герой, достойный соперник Рязанова по части разговоров с женщинами. Он сказал ей: – «Да, безделицу вы спрашиваете: женская деятельность. У нас и мужскую-то не знаешь куда деть». – «Вот видите ли, срезала его Барсукова, вы и читала много и много видели, а не даете ответа. Где же мне-то, деревенской девушке, найти его?»

Однако, она искала его; искала как умела, и то, что она нашла, нашла сама, без всякой посторонней помощи и инициативы. Единственный мужчина, к которому она могла обратиться за советом, был Камышлинцев; но он был так глуп, что совета ей никакого не только разумного, но даже и неразумного дать не мог. На ее вопрос: что делать? – он отвечал глубокомысленно: «Есть вопросы, которые трудно разрешать по двум причинам: во-первых, они сами по себе затруднительны, во-вторых не могут быть разрешены несколькими словами (кто же вам велит скупиться на слова?). У нас вообще жизнь не представляет удобства к широкой деятельности, а самая деятельность может быть направлена так разнообразно, что назвать ей одну задачу, значить исключать тысячи. Впрочем, мне кажется, всякая деятельность почтенна, если она производительна» и т. д. Если бы Камышлинцев просто сказал: ваш вопрос мне не под силу, я не могу и не берусь решать его, он поступил бы, если и не особенно умно, то во всяком случае честно. Но он хотел порисоваться перед Барсуковой превосходством своего умственного развития и показать ей, что он все может разрешить и на все может ответить. Однако, в своем

жалком самообольщении, он не заметил, что, вместо серьезного ответа на серьезный вопрос, он повторил только одно из самых пошлейших и нелепейших правил детских прописей. Она его спросила, *что* делать, а он ей в ответ: «деятельностей всяких много, и всякая деятельность почтенна, если она производительна». О, великая истина! Но что такое производительная деятельность? Если под нею подразумевать (как это обыкновенно и делается) всякую деятельность, более или менее полезную, – в таком случае пусть бы нам указал Камышлинцев, какая деятельность не почтенна? И воротнички вышивать, и огурцы солить, и кушанья стряпать, и рыбу удить, и за зверями и птицами охотиться – все это деятельности почтенные, высоко почтенные. Но разве отсюда следует, что их нужно всем рекомендовать? Разве то, что делается людьми, может быть когда-нибудь абсолютно бесполезно. Всякая деятельность *относительно* полезна, и потому каждый человек обязан стремиться по мере своих сил и возможности не к полезной деятельности вообще, а к *наиболее полезной*; – если его силы позволяют ему таскать камни, а он возится с мусором – он поступает антисоциально, он нарушает основные принципы человеческого общежития, он расстраивает солидарность общественных интересов, он совершает великий грех против всего общества. Вот эту-то истину, а совсем не ту, которая гласит, будто всякая деятельность почтенна, следует как можно чаще повторять всем и каждому, женщинам и мужчинам, ощущающим потребность что-нибудь делать, чем-нибудь заняться. И если бы она чаще повторялась, и ее бы чаще слушали, тогда, быть может, мы не имели бы удовольствия видеть взрослых, исполняющих работы детей, сильных, исполняющих работы слабых, мыслящих людей, добровольно превращающих себя в швейные, писальные и всякие другие машины. Тогда, быть может, большинство рабочих карьер не оканчивалось бы таким пошло-мещанским образом, каким оно оканчивается теперь. Вобьют человеку от юности его в голову, будто всякая производительная деятельность почтенна, он и не заботится много о выборе: что сподручнее и что легче, за то первое и хватается. Сподручнее служить – он служить пойдет, сподручнее шить – он шить начнет, сподручнее торговать или деньги в рост отдавать – он и торговать станет и деньги в рост будет отдавать. Все полезно, все приемлется, чего же лучше? зачем же брезгать?

Однако, люди не замечают, что, благодаря этой успокоительной философии лени и тупоумия, они стоят на одном месте десятки тысяч веков; они воображали, будто они сравнивают и расчищают дорогу, – но это иллюзия; в сущности они только утаптывают небольшой клочок земли, окруженный каким-то заколдованным кругом, и этого круга они не в силах переступить.

Если бы Анне Ивановне посчастливилось встретить человека не только более развитого, [но и более] энергичного, то очень может быть, что она, при своей настойчивости, при своем страстном желании «всей отдаться» делу, нашла бы какой-нибудь другой выход из своего положения. Собственным же умом она додумалась до швейной артели, в ней она усмотрела то дело, которого жаждала, через нее она хотела вырваться на божий, вольный свет, на чистый воздух. «Ведь это несносно быть век под опекою,» – говорила она

Камышлинцову, – «положим, хоть и под очень мягкой опекой, и постоянно считаться несовершеннолетней. От этого мы, русские женщины и непрактичны и мало развиты. Мне просто душно в семье; я хочу жить своим умом и на свободе!» Вот вам, в подлиннике, тот мотив, который заставляет современную женщину бежать от домашнего очага: она хочет жить своим умом, она хочет жить на свободе, она не хочет быть вечно несовершеннолетней! Это первое, могущественное проявление сознания своей силы.

Барсукова действовала энергично и практично, и потому без особых затруднений высвободилась из под отцовской ферулы, и пренебрегая городскими сплетнями и толками открыла швейный магазин (не на артельных, однако, началах, а просто на хозяйских), к стыду и ужасу окрестного дворянства. Таким образом она завоевала себе экономическую самостоятельность, и завоевала собственными усилиями, по собственной инициативе, без всяких любовных стимулов и подстрекательств. Она действовала в этом случае как настоящий человек, и это уже утешительно; утешительно, что романист, воспевающий доблесть разных г-ж Мытищевых и гг. Камышлинцевых, допускает все-таки возможность для женщины поступать иногда по-человечески.

Однако, как мы уже сказали, только эту сторону своей деятельности, только эту черту своего характера, Барсукова напоминает нам тип новой женщины. Дальнейшая ее история оттенена безличным мещанским колоритом; очевидно, она сформировалась под влиянием отсталых, крепостнических понятий о женщине и ее назначении, – тех понятий, которые сбили с толку и Марко-Вовчек, которые и ее заставили обезобразить личность новой женщины. Оба автора свели своих героинь к идеалу барышни, обусловленному крепостным правом. Первый превратил новую женщину в *самку*, – второй в добродетельную *хозяйку*; первый выкупал ее в любовном эликсире, «в воде живой», из которой она вышла свежую, бодрую, возрожденную и веселую; второй посадил ее в швейный магазин, который сделал из нее практическую торговку и убил в ней всякие гражданские порывы и всякие не мещанские поползновения; первый, в награду за то, что она умела сильно любить, дал ей Загайного и в придачу, вечное, ничем ненарушимое семейное счастье; второй, в награду за то, что она умела малым довольствоваться и отвергла Богомыслова, дал Камышлинцева, и в придачу тоже вечное, ничем ненарушимое семейное счастье.

VII

Теперь мы познакомились с характеристическими особенностями типа новой женщины, насколько эти особенности выразились в характере трех героинь трех разнообразных романов; мы отделили те черты этого типа, которые вполне соответствуют и обуславливаются его основной идеею, от тех буржуазных примесей, которыми исказили их буржуазные романисты, мы показали ту грань, которая отделяет его от типа барышни. Обратимся теперь к другой стороне вопроса, к другой стороне разбираемых нами произведений.

Каждое серьезное беллетристическое произведение имеет или, по крайней мере, должно иметь две стороны. С одной стороны, беллетрист старается

воспроизвести, по возможности ближе к действительности, те типы и характеры, которые выработались и развились под влиянием данных условий современной жизни; но этим задача его не может ограничиваться. Каждый новый характер, каждый новый тип возбуждает известные вопросы, предъявляет известные требования к жизни. Обойти эти вопросы и эти требования не может романист; в противном случае, его произведение не будет иметь другого значения кроме значения фотографического снимка, легкого очерка, сырого материала.

Его задача состоит не в том только, чтобы художественно (т. е. верно с *общим смыслом* действительности) воспроизвести особенности рисуемого характера, и указать на те требования, которые он предъявляет; он должен также определить по возможности и то, каким образом может и должна жизнь удовлетворять этим требованиям. Вот это-то и составляет тенденциозную, дидактическую сторону каждого живого беллетристического произведения, не желающего ограничиваться одними только пейзажиками, а имеющего в виду какие-нибудь более или менее серьезные, осмысленные цели. И эта-то дидактическая, тенденциозная сторона, по нашему мнению, и есть самая важная и существенная. Конечно, поклонники чистого искусства и обожатели художественных форм не согласятся с нами в этом никогда. Для них прежде всего художественность или, как они выражаются, художественная правда; – дидактические же цели унижают искусство, лишают его той свободы и независимости, которою оно всегда должно пользоваться и на которую никто будто бы не должен посягать. Романист, по воззрениям этих господ, должен только подмечать, наблюдать, обобщать единичные факты, возводить их в общие типы и созданный, таким образом, тип рисовать в конкретных образах. Примешивать к этому художественному процессу какие-нибудь тенденции – это значит, по их мнению, профанировать искусство. Но дело в том, что подобная профанация, – если только это профанация – неизбежна и неустранима при всяком художественном процессе. По-видимому, этот процесс, как его определяют эстетика, имеет мною общего с операциями статистика. Статистик также подмечает единичные факты, подводит их под однородные группы, определяет общий, средний тип каждой группы и потом прилагает этот общий тип к объяснению частных, конкретных явлений. Но вся разница в том, что романист оперирует над живыми личностями, – над величинами крайне изменчивыми, неопределенными, для наблюдения над которыми требуется очень много разнообразных и трудно даже уловимых условий, – условий, имеющих чисто субъективный, личный характер. Статистик также оперирует над отвлеченными цифрами, величинами строго определенными, точными и постоянными, но для того, чтобы их классифицировать и выводить из них средний тип – для этого не требуется никаких других условий, кроме твердого знания первых четырех правил арифметики. Потому для статистика весьма трудно потерять беспристрастие, необходимое для обеспечения точности и правильности его операций. Напротив, для романиста не быть пристрастным – почти невозможно. Разнообразные свойства тех элементов, над которыми он оперирует, лишают его возможности (не говоря

уже о влиянии его чисто субъективных наклонностей и взглядов, которые не могут не играть видной роли при подобных операциях) наблюдать и подмечать все эти свойства одновременно и с одинаковою точностью и полнотою. Некоторые из них оттенятся в его представлении с особенною рельефностью; другие с меньшею; а третьи – он и совсем упустит из виду. Таким образом, уже при самом начале своих операций художник, мечтающий сохранить строгий нейтралитет по отношению к наблюдаемым фактам, встречается с непреодолимыми затруднениями, и, сам того не замечая, подготавливает себе материал, имеющий характер чисто субъективный, далеко не удовлетворяющий требованиям объективной, художественной правды. Понятно, что при дальнейших операциях субъективный элемент будет усиливаться и расширяться все более и более в ущерб элементу объективному, в ущерб объективной правде. И чем сильнее содержание художественного творения, чем разнообразнее был творческий процесс, чем тщательнее и добросовестнее обрабатывал художник свой материал, чем из большего числа единичных наблюдений слагал он свои типы, и чем рельефнее старался он выразить их в конкретных образах, тем субъективнее будет его произведение, тем большую дозу своих личных воззрений внесет в него автор, тем, следовательно, менее оно будет удовлетворять требованиям объективной правды.

Итак, что бы ни говорили поклонники чистого искусства и художественной правды, – художественное произведение немислимо без тенденции, и требовать от романиста беспристрастия и хладнокровия статистика – значить требовать невозможного, идти наперекор природе человека, отвергать закон психологии.

Но беллетристическое произведение не только не может, оно и не должно писаться без тенденции; оно не только не может, оно и не должно ограничиваться одною рисовкою, одним беспечальным и бесстрастным созерцанием окружающих явлений, – оно должно поучать и вразумлять. При данных условиях жизни современного общества большинство грамотной публики стоит на такой ступени умственного развития, что для него всякая здравая идея гораздо доступнее тогда, когда она сообщается ему в беллетристической форме, а не в форме логического рассуждения, научного трактата. Это большинство не- способно ни само находить решение для трудных вопросов, возбуждаемых жизнью, ни искать их в незнакомой для него области чистой теории, – оно ищет их в романах и повестях. Романы и повести дают ему ответы на интересующие его житейские вопросы, они дают ему руководящие правила и советы для его домашнего обихода, они учат его, как ему жить, и что ему делать, В этом отношении они имеют огромное общественное значение, и могли бы быть благотворными орудиями цивилизации, но, к несчастью, орудие это, в большинстве случаев, находится в таких невежественных или недобросовестных руках, что оно оказывается или совершенно бесполезным, или крайне вредным. Романисты, вместо того, чтобы просветлять сознание общества, очищать его миросозерцание от предрассудков, задерживающих умственное развитие, – рабски следуют рутине и с ее голоса внушают своим читателям дикие и нелепые понятия обо всех доступных их пониманию

предметах, поддерживают их умственный и нравственный застой, оправдывают лень, апатию и равнодушие к общественным интересам. Вместо того, чтобы рисовать перед читателями возвышенные идеалы людей-граждан, они малюют им разных салонных героев и узколобых филистеров, они соблазняют их светлыми картинками, во вкусе фламандской живописи, изображающими мещанское счастье во всех его видах и проявлениях. Все это, конечно, грустно, но все это есть, существует и будет существовать до тех пор, пока или не изменятся те материальные условия, которые держат большинство публики в постоянном умственном несовершенности; или писание повестей и романов перестанет быть каким-то *asilium*'ом²² всякой глупости и невежества. Что случится скорее – этого, конечно, нельзя предсказать теперь с полной достоверностью, но мы полагаем, что первое, потому что беллетристическая форма, по самому существу своему, такова, что к ней всегда скорее будут прибегать люди, более или менее ограниченные, чем люди серьезно мыслящие, развитые и всесторонне образованные. Образное выражение мыслей всегда соответствует низшей ступени умственного развития; оно легче и удобнее для людей недалеких в умственном отношении. Когда же к нему обращаются личности высокоразвитые и привыкшие к серьезному мышлению, то они почти всегда терпят полное фиаско, – и повести и романы выходят у этих авторов произведениям крайне неудачными или, как обыкновенно выражаются, чуждыми всякой художественности, всякой поэзии.

Однако все эти соображения не дают критике ни малейшего права благодушно относиться ко всем недостаткам и нелепостям современной беллетристики. Нет, она должна обличать их на каждом шагу, она должна преследовать их везде, под какую бы благовидную формую они ни скрывались. – как бы ловко они ни были замаскированы. С этой целью она должна, в каждом беллетристическом произведении, стараться уловить прежде всего идею его и тенденцию, если эта тенденция вредна по своему влиянию на умственное и нравственное развитие читателей, – она должна беспощадно разоблачить всю его вредность и доказывать всю его нелепость. Только таким образом она может противодействовать вредному влиянию людей, которых всего охотнее слушают, которым всего легче и незаметнее подчиняются. – Уловить тенденцию романа или повести не всегда легко, потому что часто сам романист не отдаст в ней себе никакого отчета; часто романист даже и не подозревает вывода, который читатель может сделать из его романа, и когда ему кто-нибудь укажет, он с недоумением таращит глаза и наивно восклицает: а я ведь совсем об этом и не думал! – Однако, глупость несознанная и неумышленная все-таки остается глупостью, и ее вредное влияние несколько от того не уменьшается. Потому для критики существенную важность имеет совсем не то, что хотел сказать автор, а то, что само собою вытекает из его произведения, – то нравоучение, которое выведет из него обыкновенный читатель, не имевший случая иным путем познакомиться с мировоззрением автора; тот ответ, который он найдет в нем на вопросы, возбуждаемые действительностью, изобра-

²² Убежищем (лат.). – Примеч. ред.

женною в романе. А так как ответы эти имеют очень важное значение для большинства читающей публики, то, повторяем опять, критика не может и не должна проходить их молчанием.

Какой же ответ дают разбираемые нами произведения на вопрос, возбуждаемый появлением в нашем обществе типа новой женщины? Вопрос – куда девать, куда направить ей свои силы, силы, которые, как мы показали, могут иметь огромное социальное значение.

Повесть г. Слепцова решает этот вопрос весьма безотрадно и глуповато. Герой ее Рязанов проповедует новой женщине, что положение ее безвыходно, что чем более она будет узнавать жизнь, тем больше будет лишаться возможности жить так, как *другие* живут. Если под этими другими следует подразумевать филистеров, мелких эгоистов и т. п., тогда Рязанов совершенно прав: чем более новая женщина будет узнавать жизнь, тем ненавистнее и отвратительнее покажутся ей эти самодовольные филистеры, с их мещанскою обстановкою, с их мещанским счастьем, и тем сильнее пробудится в ней стремление к настоящей человеческой жизни и настоящей человеческой деятельности. В чем же, однако, осуществится это стремление, в чем должна заключаться эта настоящая человеческая жизнь? этот вопрос только в иной форме задает Марья Николаевна своему собеседнику. «Что же остается делать человеку, – спрашивает она его, – который потерял возможность жить так, как все живут?» – «Остается... Рязанов посмотреть кругом, – остается выдумать, создать новую жизнь, а до тех пор»... Он махнул рукой – т. е. до тех пор остается на все махнуть рукою! О мудрый и глубокомысленный советчик! Беда только в том, что совет этот нелеп и неудобноисполним. Махнуть на все рукою, как это сделал Рязанов, но вот именно это-то, а, быть может, одно только это и невозможно для мыслящих людей. Они хотят действовать, хоть как-нибудь, да действовать; окружающая их тупая апатия, сонливая бездеятельность для них невыносимы; они не могут относиться к жизни с тою благодушною пассивностью, с какою относятся к ней филистеры. Филистеры действительно на все махают рукою, частью благодаря условиям своей материальной жизни, оброчной обеспеченности своего социального положения, частью, благодаря понятиям и привычкам, привитым воспитанием; они готовы со всем примириться, они готовы смотреть на всякое зло, не касающееся их непосредственно, равнодушно и спокойно; но вот это-то и невыносимо для нового человека. Новый человек не может примириться с умозаключением разочарованных ленивцев, что будто теперь ничего нельзя делать, будто нужно ждать, пока создастся новая жизнь. И что такое эта новая жизнь? Новая жизнь есть жизнь полная деятельности, направленной не к достижению личного комфорта, индивидуального мещанского счастья, а к улучшению общих условий жизни всего общественного организма, к возможному осуществлению счастья всех. Какою же однако должна быть эта деятельность, и доступна ли она для женщины? К этому вопросу сводятся все остальные вопросы, возникающие по поводу новой женщины.

Рязанов советует Марье Николаевне приютиться к какой-то, как он выражается, «мелкоте», которая будто бы «все дела справит и все эти артели заве-

дет на законном основании». Г. Авдеев заставляет Анну Ивановну завести швейную мастерскую. Марко-Вовчек рекомендует Маше Загайного, как человека, который научит ее, как и что нужно делать. Таким образом, все три повести имеют одну и ту же общую тенденцию, все они сходятся в том, что отрицают возможность женской инициативы, женской самостоятельности вне сферы чисто-экономической деятельности. На вопрос: что ей делать? они отвечают: заводи мастерские, а если хочешь более возвышенной деятельности – ищи мужчину.

Заводить мастерские – это вещь хорошая, но хорошая только в том отношении, что может дать экономическую самостоятельность, прочную материальную обеспеченность нескольким женщинам. Как велик может быть круг этих женщин – это вопрос уже чисто экономический, и потому романисты считают себя вправе не касаться его. Но они ошибаются и жестоко ошибаются. Так как они лезут в учителя и наставники женщины, так как они предлагают ей практические советы насчет ее деятельности, то им не только не мешало бы, но даже было бы положительно необходимо взвесить и оценить в тиши кабинета достоинство и удобоприменимость своего совета. Тогда они увидели бы, что, во-первых, совет их в большинстве случаев неисполним, во-вторых, что в тех случаях, когда он может быть осуществлен на практике без особых препятствий, он приведет к весьма мизерному результату: две, три женщины получать полное материальное обеспечение, а взамен того обеспечение других двух, трех женщин станет весьма низким и непрочным; в-третьих, что подобная деятельность, как деятельность исключительно преследующая личные цели, имеющая в виду исключительно интересы индивидуального комфорта, не может удовлетворить женщину, стремящуюся к более возвышенным целям, занятую более широкими интересами. Но ведь романисты заставляют новых женщин открывать не просто мастерские на началах лавочнических теорий, а мастерские артельные. Эти последние, доставляя женщине экономическую самостоятельность, в то же время проводят в жизнь новые начала, начала, которые при своем полном осуществлении должны повести к счастью всех. Но опять беда в том, что романисты не подумали, насколько возможны и полезны подобные учреждения при существующих условиях. Артель, как факт единственный и исключительный, полезна только для тех немногих лиц, которые принимают в ней непосредственное участие; общественное же значение она получит только тогда, когда из единственного факта она получит возможность сделаться фактом общим. Но для того, чтобы могла существовать подобная возможность, для этого требуются совершенно особые условия. Какие это условия, об этом должны бы были подумать романисты. Если бы они об этом подумали, тогда, быть может, они пришли бы к такому заключению: требуемых условий у нас налицо не оказывается, а так как, при отсутствии их, стремление женщины достигнуть экономической самостоятельности посредством устройства мастерских и артелей может осуществиться только в редких, единичных случаях, так как, следовательно, оно никогда не может иметь других целей, кроме целей чисто-личных, индивидуальных, то советовать женщине подобного рода

деятельность, как деятельность, могущую вывести ее из ее теперешнего положения и удовлетворить всем ее стремлениям и наклонностям – крайне неосновательно и неразумно. Они рекомендуют ей полумеры, они занимают ее пустяками, скрывая от нее – умышленно или неумышленно – самое важное и самое полезное; хотя некоторые из них и ясно видят, что, при данных условиях, предприятия, рекомендуемые обыкновенно для женской деятельности, не приведут ни к каким плодотворным результатам и не удовлетворят стремлениям новой женщины, что стремления эти могут быть только тогда удовлетворены, что плодотворные результаты могут быть только тогда достигнуты, когда женщина обратит свою деятельность на улучшение и устранение именно этих данных условий, – хотя все это они видят и понимают, однако они думают, что подобного рода деятельность не женского ума дело, и что инициатива должна здесь принадлежать одному только мужчине. Женщина может действовать за его спиною, по его указанию, но отнюдь не самостоятельно и не по собственному побуждению. Маша томится и бездействует до встречи с Загайным, но когда она встретила с ним, глаза ее открылись, ум прояснился, сердце наполнилось энергиею и весельем. Но что же бы с ней было, если бы она не встретила Загайного? Если бы он, вместо того, чтоб поселиться в городе У, поселился бы городе Х? Открылись ли бы глаза Маши, прояснился ли бы ум ее, наполнилось ли бы ее сердце энергиею и весельем? Романист не решает вопроса прямо, но уже из того, что для этого прояснения, открытия и наполнения непременно потребовалось появление постороннего лица, можно заключить, что автор более склоняется в пользу отрицательного, чем положительного ответа. Но ведь не всякая женщина может рассчитывать на подобную встречу; ведь Загайные попадаются не часто. Что же ей делать, если ей не удастся повстречаться с ним? За что приняться, куда пристроиться? Неужели все томиться, скучать, бездействовать или заводить артели? А ведь никакого другого исхода ей не указывают романисты.

«Ищи мужчину с такими-то и такими-то свойствами; найдя его, действуй с ним заодно» – говорит романист, совершенно упуская из виду, что именно в настоящем случае утешительное заверение «ищите и обрящете» – всего менее может иметь места. Пример Маши исключителен и редок. Приводить подобные примеры крайне вредно, – вредно, во-первых, потому, что это поселяет в умах людей несбыточные надежды, которые всегда приводят к апатии и разочарованию, во-вторых, потому, что заставляют человека возлагать все упования не на собственные свои силы, а на случай, – на силы, так сказать, внешние, посторонние. Женщина, вычитавшая из романов и повестей, что для полноты и разумности женской деятельности необходимы любовь и мужчина, потеряет веру в собственные силы, а вместе с нею и ту энергию и бодрость духа, которые так необходимы для нее.

Таким образом, все три разобранные здесь романа проникнуты ложною, буржуазною тенденциею; они относятся к женщинам точно так же, как экономисты-лавочники к рабочим: то же лицемерие, та же тупая недогадливость, то же искусное маскирование сущности дела, та же погоня за пустым и неважным. Вопрос: что делать новой женщине – оставлен ими без разумного

ответа, и хотя они стараются разрешить его, но разрешают самым неудовлетворительным образом, потому что это решение несколько не соответствует основной тенденции характера новой женщины. Какого же рода деятельность может соответствовать этому характеру? После всего сказанного нами отвечать на этот вопрос не трудно. Конечно, нельзя отрицать, что стремление к *собственной выгоде, собственной пользе*, не чуждо характеру и новых людей. Напротив, это стремление играет точно такую же роль между мотивами, управляющими деятельностью новой женщины, какую оно играет среди мотивов любого филистера. Разница только в том, что иначе понимают собственную пользу филистеры, иначе понимают ее новые люди. Для первых она заключается в личном комфорте, в возможности пользоваться удобствами и удовольствиями спокойного, мирного, эгоистического, безмятежного и беспечального существования. У вторых понятие о собственной пользе, о *личном* счастье так тесно связано с понятием о пользе, о счастье *всех*, что даже в своей чисто-практической деятельности они не могут разъединить их. Их эгоизмом руководит и направляет ясно сознанная, глубоко прочувствованная идея солидарности человеческих интересов, потому и проявляется она в совершенно других формах, нежели у филистеров. Эгоизм последних заставляет их искать счастья только для себя, не заботясь о том, насколько от того выигрывают или проигрывают другие; они не понимают и, по своему социальному положению в большей части случаев даже и не могут понимать тех взаимных отношений, той круговой зависимости, которая связывает счастье одного с счастьем всех. Потому они стремятся к достижению счастья, как явления единичного, случайного, а не к установлению основных условий счастья вообще, условий, при существовании которых счастье каждой отдельной единицы, а следовательно и их собственное само собою подразумевается, само собою устраивается. Поясним нашу мысль примером. Стремление к экономической самостоятельности, т. е. к доставлению себе возможности всегда удовлетворять всем потребностям своего человеческого организма, – это стремление, вызываемое и обуславливаемое вполне реальным и естественным чувством самосохранения, с одинаковою силою господствует над деятельностью как мыслящих людей, так и филистеров. Но посмотрите, в каких различных формах проявляется оно у тех и у других. Авдеевская Анна Ивановна Барсукова нанимает мастериц, заводит швейную мастерскую и, обеспечив себя таким образом, чувствует себя вполне довольною и ни о чем более не заботится. Настоящая же Анна Ивановна, как одна из представительниц типа новых женщин, никогда не удовлетворилась бы; она уж если бы и завела мастерскую, то непременно на ассоционных началах; о барышах здесь бы и помину не было; а если бы за всеми расходами кое-что и оставалось бы, то и это «кое-что» немедленно обращалось бы на распространение и развитие идеи ассоциации. Таким образом Анна Ивановна №1 и Анна Ивановна №2, действуя под влиянием одного и того же мотива (мотив личного счастья, личной пользы, т. е. стремления к экономической самостоятельности), выбирают два диаметрально противоположные пути и приходят к двум диаметрально противоположным результатам: одна разоряет себя, разоряет

сознательно и, так сказать, умышленно, другая обогащается и благоденствует. Почему это? Потому, что у одной стремление к экономической самостоятельности вполне удовлетворялось и исчерпывалось с получкою хороших заказов и с реализованием хороших барышей; а другая подобным результатом никогда не могла удовлетвориться, потому что стремление ее было гораздо шире, разумнее и человечнее; просветленная и проникнутая идеєю солидарности человеческих интересов, – она ставила себе целью не достижение экономической самостоятельности только одной или двух единиц, а осуществление тех общих условий, при которых каждая единица в отдельности и все вообще могли бы пользоваться этою самостоятельностью.

Итак, господствующею тенденциею, господствующим направлением деятельности мыслящей женщины должно быть стремление к улучшению общественного благосостояния, к солидарности человеческих интересов. Только деятельность, проникнутая этим стремлением, соответствует ее характеру; только одна она достойна его. А чтобы действовать в этом смысле, для нее не нужно ни понукания и понуждений со стороны мужчины, ни священного огня любви. Она может и должна действовать самостоятельно, по собственной инициативе, сознательно, а не под влиянием темных инстинктов и слепого чувства. Но в чем же должна проявиться эта деятельность, направленная к общему благополучию? Ответ на этот вопрос следует искать уже не в особенностях характера новой женщины, и даже не в особенностях ее социального положения, а в общественной, социальной науке.

«Дело», 1868 г., № 10. П. Ткачев

ИСТОРИЧЕСКАЯ САТИРА

От редакции

В апрельском номере либерального журнала «Вестник Европы» за 1871 год рецензент А. С. Суворин выступил с критикой только что опубликованной «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина. Суворин, в то время журналист либерального направления, обвиняет Салтыкова в неуважении к русскому народу и глумлении над русской историей. Он самоуверенно поучает автора, как он должен был использовать исторический материал, в чем разница между сатирой и юмором, и так далее. Бездарный рецензент не понимает, что, приводя автору в пример Рабле, Свифта и Гоголя, он обращается к равному им гениальному сатирику. Но дело не в том, насколько Суворин понимал литературу. Он вскоре принялся издавать газету «Новое время», расстался с либеральным притворством и превратил свою газету в орган бесстыдного пресмыкательства перед правительством, получивший от Щедрина кличку «Чего изволите?». Все дело в ответе Щедрина, который мы помещаем ниже. Придерживаясь нашего правила, мы печатаем и вызвавшую его рецензию, предоставляя читателю сравнить аргументацию обеих статей.

Весь интерес этого спора содержится в вопросе, как надо относиться к народу, рабствующему перед своими угнетателями. Как читатель поймет, вопрос этот имеет не только историческое значение, и ответ Щедрина может многому научить наших современников, не умеющих определить свое отношение к народу. Главная идея Щедрина выражена в следующем месте:

«Вообще, недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплощения идеи демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавковых и Угрюм-Бурчевых, то о сочувствии не может быть речи; если он высказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия все-таки обуславливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до „народа“ в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нем заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности.»

Щедрин направил свой ответ в журнал «Вестник Европы», не следуя в этом случае своему обыкновению не вступать в журнальную полемику со своими критиками, но редакция не опубликовала статью. Выделенной здесь идее он придавал важное значение. Он не только повторил эту мысль в письме к А. Н. Пыпину, но сумел вставить ее в рецензию на сочинения

Н. А. Лейкина, помещенную в майском номере «Отечественных записок» за тот же год. Читатель может судить, как относился к народу Михаил Евграфович Салтыков, подвижник, отдавший ему всю свою жизнь.

А. Б-ов (А. С. Суворин) ИСТОРИЧЕСКАЯ САТИРА

История одного города

По подлинным документам, издал М. Е. Салтыков (Щедрин). Спб. 1870

По-видимому, нет ничего легче, как дать себе отчет о произведении писателя, талант которого окреп и вполне определился, и имя пользуется известностью наравне с лучшими именами нашей литературы. Но последнее произведение г. Салтыкова в читателе внимательном порождает некоторые недоумения, разрешить которые не совсем легко. «История одного города», по замыслу, есть нечто новое, есть попытка на новом поприще, на которое г. Салтыков еще не выходил: он пробует свои силы, если можно так выразиться, в исторической сатире, то есть ищет для себя образов в прошлом, не особенно далеком, что не лишает его произведение некоторого современного значения, потому что, несмотря на несомненный прогресс в нашей жизни, и более отдаленное прошлое в некоторых чертах сохраняет еще для нас интерес современности: достаточно указать на сочинение Флетчера: «О Государстве Русском», явившееся в XVI-м столетии; оно так глубоко указало на причины наших недугов, что некоторые страницы его смело могут быть вставлены в современную публицистическую статью, и ни одному читателю не придет в голову, что это не мысли современного автора, а голос просвещенного, дальновидного политика-англичанина, умершего двести шестьдесят лет тому назад. Г. Салтыков берет своих героев из второй половины прошлого века и первой четверти настоящего; естественно, что в этом пределе он мог выбрать весьма рельефных героев, которыми вообще так богат был XVIII-й век; если б какому-нибудь из наших теперешних талантливых поэтов пришла охота перевести сатиры Кантемира звучными ямбами, то можно поручиться, что они возбудили бы живой интерес, потому что содержание их далеко не вымерло; но современный сатирик, который решился бы добросовестно изучить эпоху, непосредственно следовавшую за Кантемиром, во всех ее подробностях и изобразить ее в ярких картинах, был бы, конечно, в положении гораздо лучше, чем «переводчик» Кантемира; сообразив все это, г. Салтыков, конечно, принял во внимание и большую свободу творчества, предоставляемую условиями нашей печати для писателей, уходящих, так сказать, в глубь веков. Таковы были выгоды положения сатирика.

Если бы он приступил к своему предмету прямо, никаких недоумений, о которых мы упомянули, могло бы и не существовать; но ему захотелось почему-то усложнить свою задачу и выразить в предисловии те цели, которые имел он в виду. Одна из них – историческая сатира, как мы уже сказали, заключенная, однако, в довольно узкие рамки, ибо автор желает только «уло-

вить физиономию города (Глупова) и уследить, как в его истории отражались разнообразие перемены, одновременно происходившие в высших сферах». Другая цель, как то можно судить по некоторым прозрачным намекам того же предисловия, – сатира на метод историографии, которого придерживаются гг. Шубинский, Мельников и др.: имена эти г. Салтыков приводит. Повидимому, с этою целью он рекомендует себя только издателем «Глуповского Летописца», заключающегося в большой связке тетрадей, найденной им в глуповском городском архиве. «Летописец» веден четырьмя архивариусами с 1731-го года по 1825-й г., и содержание его «почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников, в течение почти целого столетия владевших судьбами города Глупова, и описанием замечательных их действий, как-то: скорой езды на почтовых, энергического взыскания недоимок, походов против обывателей, устройства и расстройство мостовых, обложения данями откупщиков и т. п.» Для большей ясности своей цели автор прибавляет, что он «только исправил тяжелый и устарелый слог „Летописца“ и имел надлежащий надзор за орфографией, нимало не касаясь самого содержания летописи. С первой минуты до последней издателя не покидал грозный образ Михаила Петровича Погодина, и это уже одно может служить речательством, с каким почтительным трепетом он относился к своей задаче».

Прочитав одно предисловие и не приступая еще к самой книге, можно подумать, что это – просто шутка, смех для смеха, потому что странно было бы писать целую книгу с той между прочим целью, чтоб осмеять разных невинных компиляторов, которые в конце концов все-таки приносят свою долю пользы. Но познакомившись с содержанием целой книги, по временам видишь, что г. Салтыков как будто и в самом деле не упускает из виду пародии и вследствие того становится трудно отделять те взгляды, которые сатирик может считать своими в качестве бытописателя, от взглядов мнимых его архивариусов. Правда, тон пародии нигде не выдержан, «грозный образ М. П. Погодина» нимало не преследует сатирика, и он является самим собой, с своей манерой, с своим давно известным юмором, с своим остроумием, со всеми своими достоинствами и недостатками. Вообще в «изложении», в художественных приемах нет и запаха каких-нибудь архивариусов, но в «воззрении» на некоторые исторические явления и на главнейший фактор их – народ, слышатся иногда архивариусы, преисполненные бюрократического достоинства и чиновничьего мирозерцания. Так и думаешь, что это пародия, и ждешь подтверждения своей догадке, но сатирик спешит вас разочаровать и повергнуть в новое недоумение. Написав половину книги, он заметил, что архивариусы уж слишком выступают вперед и заслоняют собою просвещенные понятия и дальновидную историографическую зрелость невыдуманного автора, а потому он счел нужным оговориться; но вы ошибетесь, если подумаете, что он, в качестве историка-сатирика, чувствующего себя стоящим неизмеримо выше гг. Шубинских и компании, подвергнет критике мнимого «Летописца», укажет ему надлежащие границы и, осудив его узкую мерку, которой он мерит события, воспользуется этим, чтоб высказать свой собственный, просвещенный и современный взгляд; совсем напротив: сати-

рик берет под свою защиту архивариусов (стр. 155–157) и с свойственным ему остроумием доказывает, что сама правда говорит устами их, как ни грустна начертанная ими картина, и что глуповцы иными и не были и быть не могли, в силу исторических обстоятельств, как такими, какими изобразили их архивариусы, особенно если принять во внимание, что «Летописец преимущественно ведет речь о так называемой черни»; но несколько страниц далее мы видим, что архивариус ничуть не лучше трактует и об интеллигенции... Стало быть, это не пародия, стало быть сатирик готов подписаться под взглядами архивариусов, или он опять шутит, беззаботно смеется и над архивариусами, и над читателем, и над господами Шубинскими? Читаете дальше и перед вами возникает новый вопрос: не захотел ли г. Салтыков насмеяться и над самим собою? Подобное самоотвержение редко посещает авторов, но все-таки бывает...

Вот те недоумения, которые порождает в нас книга г. Салтыкова; явились ли они в ней вследствие неудачного литературного приема и двойственности цели или неясности для самого сатирика причин исторических явлений? Так как эти недоумения преследуют читателя через всю книгу, то это мешает ее цельности, ее впечатлению на читателя, путает его относительно воззрений автора на события и лица и смешивает его личность с изобретенными им архивариусами. Путанице этой способствует поверхностное знакомство автора с историей XVIII-го века и вообще с историей русского народа. Для того, чтобы изобразить эту историю хотя бы в узкой рамке одного города Глупова, для того, чтоб глубоко верно и метко представить отношение глуповцев к власти, и наоборот, для того, чтоб понять характер народа в связи с его историей, надобно или обладать гениальным талантом, который многое отгадывает чутьем, или, имея талант далеко не великий, долго и прилежно сидеть над писаниями, положим, тех же архивариусов. Иначе, без изучения, можно впасть в ту же грубую ошибку, в какую впадали некоторые иностранцы, посещавшие Русь в XVI-м веке и говорившие, что «русским народом можно управлять, только запустив в их кровь по локоть руки». Г. Салтыков, конечно, не говорит ничего подобного, и ничего подобного и в намерении иметь не может, но его глуповцы так глупы, так легкомысленны, так идиотичны и ничтожны, что самый глупый и ничтожный начальник их является существом высшим, равного которому из среды себя глуповцы не могли бы представить. В читателе естественно рождается мысль, что глуповцы должны благодарить Бога и за таких начальников... Хотел ли это сказать г. Салтыков, или это вышло против его воли, или все это он шутит, все беззаботно хохочет, желая во что бы то ни стало потешить просвещенных соотечественников и на счет начальства и на счет его подчиненных, так чтоб не было обидно ни тем, ни другим?.. Вопрос любопытный для характеристики нашего сатирика, но решение его затруднительно.

Мы уже сказали, что невозможно ясно разграничить мнение сатирика от мнений архивариусов, и если взяться за этот труд, то он уж потому окажется бесплодным, что иногда речи, вложенные сатириком в уста архивариусов, отличаются и метким остроумием и даже глубиной, тогда как мнения, при-

надлежащие, по-видимому, самому сатирику не отличаются ни тем, ни другим. Прочтите, напр., следующее, принадлежащее архивариусу, сравнение истории Глупова с историей Рима: «в Риме сияло нечестие, а у нас – благочестие, Рим заражало буйство, а нас – кротость, в Риме бушевала подлая чернь, а у нас – начальники». Очевидно, что тут даровитый сатирик сидит в архивариусе, тогда как в других – архивариус влезает, неизвестно зачем, в сатирика. Наконец, есть и такие места, где нет ни сатирика, ни архивариуса, ни историка, а есть просто человек, старающийся вас позабавить во что бы то ни стало и являющийся перед вами без всякой руководящей идеи. Что делать критике при этой путанице? Писать ли комментарии к «Истории одного города», прозревать ли в ней то, чего нет, отделять ли личность сатирика от личности архивариуса, или принять, что перед вами цельное лицо автора, в котором все эти противоречия слились в силу каких-либо исключительных законов гармонии?

Мы избираем средний путь и прежде всего проследим в «Истории одного города» действие градоначальников и подданных и посмотрим кто кого лучше. Нас не задержит это долго, потому что от подробного разбора избавляет нас предисловие, где в сжатых, остроумных выражениях резюмируется большая часть книги и главнейшая ее сущность. Читатели не забыли, что «Летописец» почти исключительно исчерпывается биографиями градоначальников; эти чиновники были таковы: «Градоначальники времен Бирона отличаются безрассудством, градоначальники времен Потемкина – распорядительностью, а градоначальники времен Разумовского – неизвестным происхождением и рыцарскою отвагою (?). Все они секут обывателей, но первые секут абсолютно, вторые объясняют причины своей распорядительности требованиями цивилизации, третьи желают, чтоб обыватели во всем положились на их отвагу. Такое разнообразие мероприятий, конечно, не могло не воздействовать и на самый внутренний склад обывательской жизни; в первом случае обыватели трепетали бессознательно, во втором – трепетали с сознанием собственной пользы, в третьем – возвышались до трепета, исполненного доверия. Даже энергическая езда на почтовых и та неизбежно должна была оказывать известную долю влияния, укрепляя обывательский дух примерами лошадиной бодрости и нестомчивости». Итак, главные, если не единственные занятия градоначальников – сечение и взыскание недоимок; традиция эта унаследована ими от самых древнейших времен, со времени призвания глуповцами к себе князей, что сатирик рассказывает в особом очерке «О корени происхождения глуповцев», очерке слабом, не остроумном, не возбуждающем даже улыбки, хотя автор очевидно рассчитывает на читательский смех, наполняя свое сказание якобы смешными словами вроде «моржееды, лукоеды, гущееды, вертячие бобы, лягушечники, губошлепы, кособрюхие, рукосуи» и проч. – так именуются независимые племена, жившие в соседстве с глуповцами или «головотяпами», как они первоначально назывались; назывались же они так потому, что «имели привычку тять головы обо все, чту бы ни встретилось на пути. Стена попадетя – об стену тьяпают; Богу молитья начнут – об пол тьяпают». Это «тьяпанье» уже достаточно говорит о душев-

ных, прирожденных качествах головотяпов, развившихся в них независимо от князей, а так сказать на общинной воле, на вечах; неизвестно почему идут глуповцы искать себе князя глупого, но нечаянно наталкиваются на умного, который переименовал их в глуповцев и при первом бунте, который они устраивают, выведенные из терпения притеснениями наместника, является к ним собственно персоною и кричит «запорю!» «С этим словом, – замечает сатирик, – начались исторические времена».

Таким образом, первое и последнее слово в истории Глупова – сечение, предпринимаемое в особенности для сбора недоимок. Градоначальники с этой целью устраивают целые походы: – один из них так поусердствовал, что «спалил тридцать три деревни и, с помощью сих мер, взыскал недоимок два рубля с полтиною»; другой «стал сечь неплательщика, думая преследовать в этом случае лишь воспитательную цель, и совершенно неожиданно открыл, что в стене у секомого зарыт клад. Реальность этого факта подтверждается тем, что с тех пор сечение было признано лучшим способом для взыскания недоимок». Все это и остроумно и метко бьет.

Что касается субъективных особенностей градоначальников, то в этом отношении мы находим мало разнообразия: все они более или менее похожи друг на друга; главное отличие их заключается в том, что одни буйны, другие – кротки, одни отличаются необыкновенной энергией даже в подавлении мнимых бунтов, другие, напротив, предоставляют глуповцам более или менее самоуправления. Подробную характеристику градоначальников историк-сатирик начинает с 1762-го г., когда в Глупов был прислан на градоначальничество Дементий Варламович Брудастый, который выразил свою программу следующими словами: «натиск и притом быстрота, снисходительность и притом строгость»; при нем «хватали и ловили, секли и пороли, описывали и продавали» до тех пор пока не оказалось, что у градоначальника вместо головы был органчик, сделанный Винтергальтером и выговаривавший два слова: «разорю» и «не потерплю». Этих двух слов оказывалось достаточно для управления глуповцами, народом, в сердцах которых все градоначальники, «как бурные, так и кроткие, оставили по себе благодарную память». К несчастью, местный механик не мог исправить органчика, когда он испортился, и Брудастый принужден был отправить голову для исправления в Петербург; при доставке ее обратно в Глупов, ящик, услышав, что голова отчетливо произнесла «разорю», выбросил ее в ужасе на дорогу и с этого времени началось в Глупове безначалие и явились самозванки: Ираида Лукинишна Палеологова, Клемантинка, Амалька, Дунька и Матренка. Все эти самозванки овладевали властью и истребляли друг друга, так что осталась, наконец, одна Дунька-толстопятая, которая вместе с Матренкой делала дела поистине удивительные: «они выходили на улицу и кулаками сшибали головы проходящим; ходили в одиночку на кабаки и разбивали их, ловили молодых парней и прятали их в подполья, ели младенцев, а у женщин вырезали груди и тоже ели. Распустивши волосы по ветру, в одном утреннем неглиже они бегали по городским улицам, словно иступленные, плевались, кусались и произносили неподобные слова». Картина поистине нелепая, лишенная не только остро-

умия, не только реальной, но и фантастической правды. Но она делается еще нелепее, безобразнее и бессмысленнее по тем последствиям, которые произвела: глуповцы обезумели от ужаса и стали истреблять друг друга, потом утопили Матренку-ноздрю, но с Дунькой решительно совладать не могли. «Был, по возмущении, день шестой», острит сатирик: «глуповцы вдруг воспрянули духом и сами совершили скромный и беспримерный подвиг собственного спасения. Перебивши и перетопивши целую уйму народа, они основательно заключили, что теперь в Глупове крамольного греха не осталось ни на эстолько. Уцелели только благонамеренные.» Это глуповцы называли «очищением», после чего объявили против Дуньки всеобщее ополчение, но покорить ее все-таки не могли: победили ее клопы, заевшие ее на смерть. Прочитавши весь этот вздор, наполненный похождениями неестественных баб и девок, картинами в роде вышеприведенной, словами вроде «паскуда», невольно спрашиваешь себя: что это такое, для чего это написано – для забавы и смеха, рассчитанных на читателей снисходительных к здравому смыслу, к художественной правде и неразборчивых на юмор, или в самом деле сатирик-историк полагал, что все это имеет реальное отношение к тому, что совершалось в «высших сферах» и что отражалось в Глупове, как в малом зеркале? Напрасно, однако, станем мы искать в истории XVIII-го века что-нибудь подобное, и если г. Салтыков видит в этой истории нечто подходящее, то он должен все-таки согласиться, что он написал уродливейшую карикатуру, и что в ряду словесных произведений карикатура занимает низшее место, чем сатира, и что даже карикатура имеет свои пределы, за которыми она делается просто вздором.

Один из следующих очерков – «Голодный Город» несравненно лучше: тут не мало метких замечаний о беспомощности жителей против буйства начальников и о той удивительной поспешности, с какою являются военные команды усмирять совершенно смирных обывателей, кажущихся, однако, начальническому глазу бунтующими, и чем кривее этот глаз, чем ограниченнее рассудок и чем больше склонности к самодурству у подобных начальников, тем чаще эти мнимые бунты и тем более востро истребляется на мужицкую спину. Но этому очерку, как и последующему («Соломенный Город»), где есть картина пожара, написанная рукою настоящего художника-мастера, положительно вредят бабы и девки, которых напускает в свои произведения г. Салтыков в излишнем количестве, без нужды, и занимается ими слишком прилежно, мы готовы даже сказать: с любовью, поистине необъяснимою. Герой этих очерков, градоначальник Фердыщенко, заводит себе помпадуршу²³, в лице посадской жены Алены, потом какой-то общественной бабы Домахи, из-за которых глуповцы начинают враждовать с градоначальни-

²³ Слово «помпадурша» не есть изобретение г. Салтыкова, а употребляется у нас издавна, еще со второй половины XVIII-го века. Так, мы находим в «Записках» дядьки великого князя Павла Петровича, известного С. А. Порошина, под 29 октября 1765-го г., следующую строку: «Помпадурша наша очень хорошо вчера была одета». Помпадурша эта – тогдашняя красавица Вера Николаевна Чоглокова, в которую влюблен был одиннадцатилетний великий князь. («Запис. Порошина», стр. 481 – Семен Андреевич Порошин, статья г. Семевского в «Рус. Вест.» 1866 г., август).

ком, по причинам не совсем ясным и даже, можно сказать, фантастическим, чту, однако, навлекает на них не мало бед, ибо, как уже сказано, Фердыщенко постоянно прибегал к помощи военной команды, которая упала как снег на голову бедным глуповцам даже тогда, когда они ожидали от высшего начальства благодарности за свое благонравие и долготерпение. Фердыщенко посвящен еще третий очерк, где описывается его «фантастическое» путешествие кругом города Глупова; по нашему мнению, очерк этот один из слабых, ровно ничего не говорящих; между тем, как в «высших сферах» происходило действительно сказочное путешествие в Крым, обставленное такими декорациями, которых ни один декоратор ни прежде того, ни после произвести не был в состоянии, ибо для этого затрачены были миллионы; путешествие это могло бы представить прекрасный материал для сатирического изображения, тем более уместного, что все описатели его восхищались им и оно перешло в предание, как очаровательная сказка, тогда как на самом деле оно дышало невообразимой нескладицей. Другой фантазии того времени – завоевания Византии, г. Салтыков тоже коснулся и довольно остроумно («Войны за просвещение»), хотя, по правде сказать, сюжет этот достаточно исчерпан. Была другая фантазия более дикая и нелепая, взлелеянная всеильным Платоном Зубовым после 1793-го года; фантазия эта сохранилась в собственноручных набросках знаменитого временщика: разграничив Европу, он присоединял к России все пространство до устьев Эльбы на севере и до Триэста на юге и назначал несколько российских столиц, в которых государи должны были жить по несколько месяцев в году; эти столицы были: Петербург, Москва, Ярославль, Астрахань, Берлин, Гамбург, Вена и еще что-то; извращенная фантазия и невежество всеильных россиян того времени не останавливалась ни перед чем, подкрепляемая беглыми маркизами и другими представителями старого режима, устремившимися в Россию, как в землю обетованную.

Мы почти исчерпали все то, что нашел г. Салтыков для своей сатиры во второй половине прошлого века, и читатели не могут не видеть, что замечено им крайне мало, если не предположить, что город Глупов уж такой несчастный, что в нем не отражалась и сотая доля того, чту происходило в «высших сферах». В самом деле, мы вовсе не видим главнейших явлений екатерининского времени. Где те ничтожности, которые попадали на «высоту честей» по щучьему веленью, где эти баре-философы, эти волтерьянцы и энциклопедисты, которым все это не мешало изнурять народ, обкрадывать казну, развращаться до мозга костей и развращать других, подкапываться друг под друга и рабски ползать и дрожать перед мальчишками, внезапно надевавшими генерал-адъютантский мундир? По нашему мнению, это ползанье высших поучительнее дрожания темной массы перед возами розог. Где тот наглый разврат, заменивший слово «любить» словом «махаться» (см. «Живописец» Новикова), сделавший из женщин цинических амазонок и смешавший полы; где этот сенат, не имеющий у себя географической карты России и не знающий суммы доходов и расходов; где многоглаголивый «Наказ», списанный с Монтескье и др., явившийся таким блестящим фейерверком и лопнувший в пространстве, как неудавшаяся ракета, не оставляющая после себя искристого

хвоста, но на минуту смутившая и встревожившая обывателей и градоначальников; где тот страшный Пугач, тот зловещий ворон, который заставил трепетать, как «высшие сферы», так и градоначальников, которые забыли все мероприятия относительно подчиненных и заботились только об одном мероприятии – спасти собственную свою персону, для чего вымаливали иногда прощение у баб и мужиков и валялись в ногах у самозванных «енаралов», познавая всю тщету своего градоначальничества; где эти выскочки, чудесным образом вылетавшие в люди, с гордостью носившие свой позор и даже возбуждавшие к себе зависть в других; где эти лейб-кампанцы, игравшие роль преториянцев, возмущавшие и бунтовавшие (см. описание их бунтов у Манштейна); где такие градоначальники, как Прозоровский, допрашивавший масонов, и о котором Лопухин оставил нам драгоценные страницы, блестящие юмором тем более ярким, что он выливался в допросах градоначальника искренно и наивно; где чудеснейший прототип всех тайных дел мастеров, начиная с грубейших и кончая изящнейшими, – Шешковский, «помаленьку кнутобойничавший» и совершавший экзекуции иногда над важными дамами с патриархальной простотой: пришел, взял и высек; пришел с своими архангелами прямо в спальню, взял даму с ложа, и тут же, в присутствии оторопевшего мужа, отсчитал положенное количество по приказанию светлейшего князя Григория Александровича. Что за время было чудесное! Чтоб арестовать Новикова, посылают чуть не целый полк, и для чего? для того, конечно, чтоб показать «авторитет власти», чтоб каким-нибудь образом беззащитный журналист не нанес ущерба ее достоинству, тогда как один квартальный весьма удобно мог совершить этот немудреный подвиг. А когда действительно приходилось показать «авторитет власти», когда государство, созданное могучею волею великого Петра, когда зачатки просвещения, им насажденного с таким трудом, были угрожаемы со стороны поднявшейся казачины под предводительством беглого каторжника, *marquis de Pugatchef*, как называла его Екатерина в письмах к Вольтеру, когда эта серьезная опасность встала под ореолом императора Петра III, «авторитет власти» вдруг пал, вдруг оказался до того бессилён, до того презрён, что нам, читающим теперь историю того времени, могло бы показаться это невероятным, если б и на наших глазах не совершались такие же чудеса, т. е. показывание «авторитета власти» над бессильными, никому не опасными «вольнодумцами», и падение в грязь, когда этот «авторитет» сталкивается с сильным врагом (просим припомнить поучительную историю Наполеона III, великого полководца в кампаниях против мнимых заговорщиков). И ничем подобным г. Салтыков не воспользовался, ничем подобным не вдохновился, не взял из всего этого ни одной черты, ни одного типа. Нам могут возразить, что мы напрасно вопрошаем г. Салтыкова о том, чего он не сделал, вместо того, чтоб ограничиться разбором того, что он сделал. Но в этом случае мы вправе спросить даровитого сатирика, ибо он взялся за сатиру историческую и как бы вступал в конкуренцию с тем, что сделано для этого тогдашними литераторами. Разумею сатирические журналы Новикова, некоторые строфы Державина, «Вадим» Княжнина, «Недоросля» и мелкие сатирические статьи Фон-Визина,

как напр. его «Придворную Грамматику», которая по остроумию и смелости едва ли не выше «Мыслей о градоначальническом единомыслии, а также о градоначальническом единовластии и о прочем», которые заставляет г. Салтыков сочинять одного из своих градоначальников, Бородавкина («Мысли» эти, впрочем, блещут остроумием); к этому следует прибавить другие сатирические журналы, напр. «Почту Духов» и книгу Радищева, в которой недостаток таланта и слога выкупается ярким сатирическим содержанием, а местами и одушевлением. Как вы хотите, чтоб, читая сатиру на вторую половину прошлого века, мы забыли то, что сделали для нее тогдашние писатели? Как вы хотите, чтоб мы не указывали сатирику тех фактов, которые просятся в сатиру и которые так удобны для нее и так живучи? Если он говорит о прошлом, если он рисует жизнь, сделавшуюся достоянием истории, мы вправе указывать на то, чего он не сделал. Правда, есть у него кое-какие намеки, но такие отдаленные и такие путанные, что необходим весьма подробный комментарий к ним, который никем иным не может быть составлен, как самим автором, ибо отгадать его намеки не в силах человеческих. Хотел он, напр., изобразить переход от либерализма к реакции, и в результате вышло только глумление над глуповцами.

Бедные эти глуповцы! Читатели видели отчасти, как третирует их сатирик, какой благодарностью пылают их сердца, по его уверению, даже к буйным начальникам; но мы не показали еще всего. «Глуповцы – народ изнеженный и до крайности набалованный» (должно быть, сеченьем); глуповец руководится «не разумом, а движениями благодарного сердца»; Глупов – город «беспечный, добродушно веселый». «Ежели посудине велют кланяться, рассуждает глуповец, – так и ей, матушке, поклонись», и при этом, замечает сатирик, «их волнует только одно сомнение, как бы казне не было убытка, если станут они кланяться посудине». «Ежели нас теперича всех в кучу сложить, рассуждает опять глуповец, и с четырех концов запалить – мы и тогда противного слова не вымолвим. Нам терпеть можно, потому, мы знаем, что у нас есть начальство». Спрашиваем всякого беспристрастного человека – не идиотские ли это мнения, и где, в какой трущобе, подобные мнения можно услышать? Где этот город Глупов, населенный такими идиотами? Или он не знал борьбы с притеснением, или он не бегал от злоупотреблений власти, или он не восставал против нее с страшною мезтью при Разине, при Пугачеве, или он не умел хитро и ловко провести ее, как провели ее раскольники? Должно быть, Глупов где-нибудь с краю...

Но положим, что Глупов пассивно, а иногда даже с «благодарным сердцем» переносил весь гнет, которым угнетали его «буйные» градоначальники; положим, что глуповцы действительно способны были кланяться посудине и ни единого слова не промолвить, если б их сложили всех в кучу и запалили со всех четырех концов. Страх – великое дело, он отнимает разум даже у разумных и парализует энергию сильных; чтоб составить себе определенное понятие о человеке, надо посмотреть, как живет он при обстоятельствах благоприятных, в счастии и довольстве. Оказывается, что такое наблюдение можно произвести и над глуповцами, ибо и у них были кроткие градоначаль-

ники, между которыми нельзя не упомянуть, без особенной благодарности, о некоем Прыще, имевшем, вместо обыкновенной, фаршированную голову, что и было потом открыто и голова эта съедена с большим аппетитом предводителем дворянства. Но прежде, чем это случилось, глуповцы успели насладиться покоем, ибо фаршированная голова оказалась несравненно пригоднее для развития самоуправления у глуповцев: Прыщ позволил им жить как они хотят и даже громогласно объявил, что в невмешательстве в обывательские дела и заключается вся сущность администрации. Конечно, впоследствии, при крутых обстоятельствах, которые опять настали, глуповцы часто повторяли: «ах, если б все градоначальники были с фаршированными головами!»! Без сомнения, они заблуждались, потому что и так бывает часто, что именно градоначальники с головами, во всех отношениях похожими на фаршированные, более всего мешают самоуправлению, но при Прыще было наоборот, и глуповцы сильно стали поправляться. Последующие начальники, хотя и не отличались благодушием фаршированного, но были люди веселые, не злые, любящие наслаждения, и иногда похвалявшиеся и либерализмом. И что ж? Глуповцы «изнемогли» под бременем своего счастья и забылись. Избалованные пятью последовательными градоначальниками, доведенные почти до ожесточения грубою лестью квартальных, они возмечтали, что счастье принадлежит им «по праву», и «стали бросать хлеб под стол и креститься неистовым обычаем», а когда тогдашние обличители начали греметь против этого, глуповцы говорили: «хлеб пушай свиньи едят, а мы свиней съедим – тот же хлеб будет». За сим, неизвестно для чего, а только по свойственной им глупости, они стали строить башню до небес и не выстроили ее только за недостатком архитекторов, но зато они наверстали на других безумствах: «забыли истинного Бога и прилепились к идолам», вытащили из архива старых богов Перуна и Волоса и, собрав сходку, порешили на ней: знатным обоюго пола особам поклоняться Перуну, а смердам – приносить жертвы Волосу. Глядя на все это из окна своего дома, тогдашний градоначальник Дю-Шарио кричал: «Sont-ils betes! dieux des dieux! sont-ils betes ces moujiks de Glupoff!» Развращение нравов шло crescendo, началась всеобщая гульба, и глуповцы «мнили, что во время этой гульбы хлеб вырастет сам собой и потому перестали возделывать поля».

Кажется, этого было бы довольно; уж достаточно унижен бедный глуповец, достаточно низведен до бессмысленных скотов. Нет, наш сатирик так высоко парит, что глуповцы кажутся ему презреннее мух, которые только и дела делают, что гадят и любовью занимаются. И действительно, стали они ни на что не похожи с водворением у них градоначальника Эраста Андреевича Грустилова, когда ко всей прежней распушенности прибавилась еще заграничная зараза. «Влияние кратковременной стоянки (глуповцев) в Париже оказывалось повсюду.... Явились люди женоподобные, у которых были на уме только милые непристойности. Для этих непристойностей существовал особый язык. Любовное свидание мужчины с женщиной именовалось „ездой на остров любви“. Представители глуповской интеллигенции сделались равнодушны ко всему, что происходило вне замкнутой сферы езды на остров

любви.» Жить было легко, потому что представители интеллигенции «чувствовали себя счастливыми и довольными и не хотели препятствовать счастью и довольству других»; «эта легкость в особенности приходилась по нутру так называемым смердам.... Смерды наполняли свои желудки жирной кашею до крайних пределов», предались многобожию, стали поклоняться Волосу и Яриле, «но в то же время намотали себе на ус, что если долгое время не будет дождя, или будут дожди слишком продолжительные, то они могут своих любимых богов высечь, обмазать нечистотами и сорвать на них свою досаду. И хотя очевидно, что материализм столь грубый не мог продолжительное время питать общество, но в качестве новинки он нравился и даже опьянял. Общество, во всех разнообразных слоях своих, начиная от магнатов интеллигенции до самого последнего смерда, предавалось ему с упоением». Развращенные постоянной гульбой, смерды «до того понадеялись на свое счастье, что, не вспахав земли, зря разбросали зерно по целине. И так, шельма, родит! говорили они в чаду гордыни». Сатирик определяет даже время этого удивительного происшествия – 1815–1816 гг.

Мы не славянофилы; мы никогда не говорили и никогда не скажем, что в русском народе – а глуповцы составляют часть его – есть какие-то особенные качества, способные обновить гнилой «Запад», но мы уважаем этот народ и видим в нем все задатки для развития; благодаря этому народу, создалось государство, благодаря ему, явилась интеллигенция, литература, искусство и разные другие удобства жизни; сам питаюсь Бог знает чем, он питает всех, не исключая сатириков даже самых возвышенных и непреклонных, которые говорят, что как скоро дана была этому народу возможность «наполнять свои желудки жирной кашею до крайних пределов», как скоро не стали «препятствовать его счастью и довольству», он немедленно начал производить невообразимые безумства, загулял и бросил даже хлеб сеять... Не правда ли, какой презренный народ и как достоин он всего того, что призывали на него ревнители его нравственности! Как ниже он всех его начальников, не только таких, как Прыщ, который, вместе с фаршированной головой, обладал и благоразумием, но и всех тех, с которыми мы познакомились. Они гнали и притесняли народ, они делали много глупостей и жестокостей, но ни один из них не доходил до того безумства, каким ознаменовали себя в счастливые годы глуповцы, подлые и гнусные в несчастьи и разгульно-идиотичные в счастье. Сатирик говорит нам, что «мы без труда поймем» все это, если припомним, что у глуповцев «назади стоял Бородавкин, а впереди виднелся Угрюм-Бурчеев». Действительно, мы поймем это, только не с той стороны, на которую указывает сатирик: для таких бессмысленных идиотов, еще в начале своей истории, на воле, обнаруживших только способность «тпать головою», начальники, в роде Вородавкина, шли как нельзя лучше. Они друг друга стоят. Независимо от этого, т. е. допуская справедливость указания г. Салтыкова, заметим, что ведь народ, эти смерды, живет изо дня в день, живет настоящим моментом, не имея ни времени, ни средств на то, чтобы провидеть будущее и прилежно анализировать прошедшее. Власть, бесспорно, действует на нравственность народа так или иначе, в положительную или отрица-

тельную сторону, и в этом случае глуповцы не могли быть исключением; но ни история, ни настоящее вовсе не говорят нам ничего похожего на те картины, которые нарисовал г. Салтыков. Напротив, народ, при всей своей невежественности, постоянно выбивался из-под тяжелой опеки, не говоря уже о том, что всякое облегчение всегда принималось «смердами», как милость Божия, и они не только не бросали свиньям хлеб, не только не разбрасывали зерна по целине, но обыкновенно лучше вспахивали землю, хотя та же история не представляет нам ни одного момента, когда бы народ до отвалу наедался жирной кашей: он всегда был и есть в проголодь, и поклоняться Яриле и Волосу могли только те, кто не обливался потом на скудных нивах. Выставляя в таком виде народ, не отделяя его от слоя его эксплуататоров, г. Салтыков приносит такие жертвы, на какие способны разве архивариусы. В самом деле, – градоначальники безумны, народ еще безумнее, градоначальники развратны, народ еще развратнее, градоначальники вислоухи, народ еще более вислоух. Где, какой сатирик приносил подобное жертвоприношение? Делали ли это Рабле и Свифт, в своих бессмертных произведениях, делал ли это Гоголь? Нет, тысячу раз нет, и оно понятно: если отвергать народ, отвергать его здравый смысл и даже простую его житейскую сообразительность, то что же признавать после этого?...

Мы вовсе не хотим сказать, что народу надо кланяться и кадить ему. Мы не хотим также сказать, чтоб какие-нибудь глуповцы были застрахованы от бича сатиры; но на все есть такт, всему есть пределы, и искусство выработало верное средство для отношений сатиры к угнетаемым и падшим, и этим средством г. Салтыков обладает в достатке. Средство это – юмор; но юмор не значит ни смех для смеха, ни карикатура для карикатуры; юмор – и не «капризное свойство писателей», как определил его не совсем давно один критик, потому что от каприза должны спасти писателя разум и развитие, и потому что каприз есть баловство или патологическое состояние нерв. «Видимый миру смех сквозь незримые слезы» – это определение юмора, сделанное Гоголем, в высшей степени верное и многообъемлющее, налагает на писателя известные обязанности, далекие от каприза и смеха ради смеха; хотя Гете сказал, что юмор – одна из безграничных форм искусства, хотя, по его мнению, «*der Humor zerstört zuletzt alle Kunst*», но это относится более к внешней форме его, чем к внутреннему содержанию; внутреннее же это содержание стремится к тому же, к чему наука в ее широком значении: юмор стремится освободить общество от предубеждений, от унаследованных традиций, от неравенства; для него нет ничего малого, но нет также ничего и великого. Он развенчал великое, чтобы возвысить малое, отринул поклонение избранникам судьбы, чтоб показать живучесть идей в толпе, в ординарном, загнанном, ничтожном, что древнее искусство приносило в жертву богам и героям. Аристократия красоты и изящества, добродетель, таланты, мудрость, сила и богатство – вот над чем трудилось прежнее искусство, на что обращало оно все свои помыслы и средства. Оно развило вкус к изящному, уважение к добродетели, мудрости, к нравственной силе, – заслуги бесспорно великие – но толпа для него почти не существовала, потому что она представляла будто

бы смешение элементов незначущих и обыденных, где самую добродетель трудно отличить от порока. Юмор указал, что и в толпе живет мысль, что и в ней есть чувство, есть задатки на величие и нравственную силу. Христианство сказало: «придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас», и эти слова сделались лозунгом юмора. Таким образом, он стремился признать в человеке, кто бы он ни был и как бы высоко или низко ни стоял он – человека, т. е. существо, наделенное не одними пороками, не одними добродетелями. Не жертвуя малым великому, он великое низводил до малого и малое возвышал до великого. К сожалению, современные юмористы, в своем усердии увеселять публику во что бы то ни стало, даже в ущерб собственной репутации, забывают это, или этого не знают, руководствуясь исключительно побуждениями собственной природы, не проверенными и не сдерживаемыми разумом.

По тому, что мы сказали о юморе, легко понять его отличие от сатиры. Юмор прощает грешникам и дает им возможность поднять голову, сатирик – бичует их. Он открывает все раны, где бы их ни заметил, он гремит проклятиями и осуждениями, не указывая никаких средств для спасения и исцеления. Но громит он во имя высшей идеи о человеческом достоинстве, которую, однако, не высказывает; она только чувствуется за его отрицанием, между тем как юморист ее не скрывает; по самой сущности юмора его идея, форма и сущность нераздельны; но если в сатире и не высказывается прямо руководящая идея, то о ней всегда можно составить себе понятие по отрицательным образам сатиры. Чем больше сатира обращает внимание на ничтожные мелочи, тем мельче и идея, воодушевляющая сатирика. Это так ясно, что распространяться об этом – значит напрасно терять слова. Одним словом, сатирическое произведение всегда дает масштаб для определения нравственной высоты той идеи, которою вдохновляется сатирик. Из всего сказанного, по видимому, следует, что сатирик и юморист противоположны друг другу: юморист копается в мелочах жизни с смеющимся лицом и охотно останавливается в вертепах порока, чтоб и тут отыскать человеческие черты, тогда как сатирик имеет право отвернуться от этого и послать туда проклятия. Все это так только в теории, но в действительности, по закону противоположностей, они постоянно соприкасаются, и юмор с такой же неуловимой быстротою переходит в сатиру, как сатира в юмор: они ежеминутно сменяют друг друга, так что критике очень трудно иногда отличить юмор от сатиры и сатиру от юмора. Это легко объясняется как самыми многообразными свойствами человеческого духа, так и сложностью явлений действительности. Юмористу, при всем его старании, при высочайшем проникновении руководящею им гуманною идеей, не удастся иногда осветить эту последнюю безобразные и наглые явления действительности; он слишком часто наталкивается на бесовейшую эксплуатацию, и его смех, карикатура, ирония заменяются серьезным, лирическим настроением сатирика. С своей стороны, сатирик не может, по самому свойству человеческого духа, совершенно устранить от себя великодушные, доброту, сострадание; он не может по справедливости совершенно выделять и себя самого из окружающей его действительности, ко-

торой он есть часть, и это еще более смягчает его, и сатира его переходит в юмор. Но и сатира и юмор исчезают и остается голая проза, безжизненное переживание из пустого в порожнее, смех ради смеха, как скоро сатирика и юмориста оставляет высокая идея служение добру и истине. Величайшая гармония между юмором и сатирой, при художественности и зрелости образов. существует у нас только у одного Гоголя. Он ни разу в своих произведениях не провинился, так сказать, против законов, которые вывела теория о сатире и юморе. Самые жалкие отребья человечества, в роде чиновника в «Шинели», возбуждают в нем именно такой смех, сквозь который слышатся слезы; в «Записках Сумасшедшего» юмор нигде не переходит свои границы и в конце этого произведения обращается в вопль сострадания к больному человечеству; мы не говорим уже о «Мертвых душах», где талант Гоголя развернулся во всю свою ширь.

Да не подумают читатели, что мы желаем сравнивать Гоголя с г. Салтыковым: мы хотели только указать на то, как великий писатель пользовался своим дарованием и какой живой пример, не в отвлеченной теории, оставил он своим последователям. Дело в том, что г. Салтыков продолжает традицию Гоголя и по мере сил и возможности разрабатывает частности той самой картины, которую так гениально начертил Гоголь. Как верный ученик, г. Салтыков не выходит из рамки этой картины и не расширяет ее горизонта; этим, однако, мы отнюдь не хотим сказать, что у г. Салтыкова мало сил – их довольно для того, чтоб быть заметным и полезным учеником великого таланта, но эти силы иногда направлены фальшиво и односторонне. Из указанных нами, в общих, слабых чертах, существенных свойств сатиры и юмора, построенных теорией не произвольно, а на основании произведений именно великих талантов, ясно, что и та и другой имеют свои границы и являются выразителями руководящей авторами идеи. Нравственное чувство и искусство в современном его значении откажутся признать какое бы то ни было поэтическое достоинство за сатиру на крепостных, крестьян, за сатиру на негров, перевозимых как товар на плантации, хотя бы авторы их обнаруживали несомненный талант: низменная, чисто животная идея, которая легла бы в основание подобных произведений, лишила бы их всякого значения и достоинства; это был бы отвратительный пасквиль, от которого с презрением отвернулось бы искусство, потому что оно служит прогрессу и цивилизации. Этим примером, конечно грубым, мы хотим объяснить, почему фальшиво отношение г. Салтыкова к народу (т. е. к его приниженным и угнетенным глупцам), не только с исторической точки зрения, но и с художественной. Его юмор грешит в этом случае тоном и своим содержанием, потому что автор недостаточно выяснил себе свои идеалы, свою нравственную идею; его юмор обращается в злую, а иногда и просто в пошлую насмешку над несчастием и неразвитостью темной массы; его юмор часто не проникнут высокой идеей братства и любви там, где этого ожидаешь и где это необходимо, и вдруг проникается любовным элементом там, где нужен элемент противоположный; его юмористическое настроение не связывается достаточными нравственными путями и опрокидывается иногда зря на первый попавшийся пред-

мет, – лишь бы он представлял смешную сторону. Неужели это настоящий юмор, неужели это служение искусства добру и правде? Нет, это не юмор, а самодовольный хохот, от которого да хранит Бог на будущее время такой замечательный талант.

Нам осталось сказать о последних двух очерках в книге г. Салтыкова: один из них посвящен градоначальнику Эрасту Андреевичу Грустилову, другой – Угрюм-Бурчееву. Эти два очерка, в особенности последний, лучшие в книге г. Салтыкова. В Грустилове представлен человек, по-видимому либеральный, с первого знакомства как будто что-то обещающий, но в сущности растленный похотью и властью, суеверный и сентиментальный в худшем значении этого слова и блещущий отсутствием твердых убеждений. Это почти флюгер, но флюгер, однако, себе на уме, умеющий свои наружные достоинства и свою власть употреблять для удовлетворения господствующему своему влечению – похоти; и либерализм, и мягкие манеры, и сентиментальность, и суеверие – все это в нем проявляется не столько как основные черты его характера, сколько как более или менее искусная маска для уловления сердец. Ленивый и беспечный, он поддается всякому влиянию, лишь бы оно льстило господствующей в нем слабости или избавляло от хлопотливых забот по управлению глуповцами. Оберегайте только его личные интересы, содействуйте осуществлению его вожделений, и он позволит вам делать, что вам угодно. При случае вы можете напугать его дьяволом, при случае бунтом, при случае можете обольстить прелестью либерализма и благословением потомства. У г. Салтыкова, впрочем, рельефной вышла только «клубничная» сторона, анализированная с. большим искусством и юмором. Но если Грустилов напоминает нам лучшие произведения нашего сатирика, как «Ташкентцы», «Глупый помещик», то Угрюм-Бурчеев стоит едва ли не выше всего, что до сих пор написал г. Салтыков. Это если не совсем цельный, то во всяком случае рельефный образ деспота-самодура, в своем ослеплении и самонадеянности вызывающего на бой даже силы природы. Угрюм-Бурчеев перед рекою, которая вдруг преграждает свободный ход его дикой фантазии, – удивительно удачная картина.

– «Зачем? – спросил, указывая глазами на реку, Угрюм-Бурчеев у сопровождающих его квартальных.

«Квартальные не поняли: но во взгляде градоначальника было нечто, до такой степени устраняющее всякую возможность уклониться от объяснения, что они решились отвечать, даже не понимая вопроса.

– «Река-с.... Навоз-с.... лепетали они как попало.

– «Зачем? – повторил он испуганно, и вдруг, как бы боясь углубиться в дальнейшие расспросы, круто повернул налево кругом и пошел назад.

«Судорожным шагом возвращался он домой и бормотал себе под нос:

– «Уйму! я ее уйму!»

Далее идет картина этого унимания реки, в которую валят целые возы мусора, но она продолжала течь по-прежнему, только изредка как бы останавливаясь, и бурлила, когда масса мусора сбрасывалась в нее. Эта картина невольно напоминает другую, столь частую в действительной жизни народов:

останавливаются самодуры испуганно перед потоком живых идей и говорят судорожно: «уйму я его, уйму!» но поток пробивает себе дорогу через плотины, по-видимому, самые надежные и год от году делаясь все шире и шире, заливают береговые пространства и превращает даже самый мусор в плодородный чернозем. Самодуры с течением времени замечают это странное по их мнению явление и стараются усугубить свое усердие; но поток все-таки течет, иногда под почвой пробивает себе ложе, незримо для соглядатаев, и вдруг вырывается из нее таким бурным каскадом, что голова самодуров кружится, и они теряют всякую способность к усмирению непокорной стихийной силы. Возвращаемся к Угрюм-Бурчееву.

Стройность этого прекрасного очерка нарушается, однако, несколькими страницами, посвященными какому-то Ионке Козырю, в истории которого сатирик, по-видимому, хотел изобразить историю глуповского либерализма и, по обыкновению, впал в апокалипсическую темноту и в ничего не выражающую карикатуру. Мы могли бы еще сделать два, три замечания. Нам, напр., не нравятся слова «идиот» и «прохвост», которыми обзывает своего героя сатирик; и с нашей стороны это далеко не капризное субъективное чувство, а одно из тех требований искусства, перед которыми художник должен преклоняться по той простой причине, что подобное отношение к герою – не художественный прием: герой должен выходить цельным образом, без этих, часто ничего не говорящих, при всей своей резкости, эпитетов. Кроме того, в настоящем случае слово «идиот» достаточно противоречит всей деятельности Угрюм-Бурчеева, ибо из нее, при всей ее дикости, нельзя все-таки вывести заключения, что перед нами идиотическое существо, неспособное ни к какому размышлению. И только такая постановка лица дикого самодура и мыслима в серьезном литературном произведении, иначе, то есть при допущении идиотизма у самодура, он теряет свое широкое значение, и черты, равно приложимые, хотя и не в одинаковой степени, к ограниченным и умным из них, частью исчезают, являясь лишь принадлежностью одного лица, пораженного идиотизмом. Тип, таким образом, сильно бы умалился в своем нравственном значении. К счастью, сатирик не сделал этой ошибки, и эпитет «идиота» употреблен им совершенно излишне, по привычке к крепким словам: в Угрюм-Бурчееве много сметливости, хитрости, дикой наглости, способности комбинировать планы благоустройства, хотя планы и «прямолинейного» содержания. Напрасно также г. Салтыков придал ему некоторые такие черты, которые как бы указывают на присутствие необыкновенно сильной воли в этой натуре. «Он спал на голой земле, и только в сильные морозы позволял себе укрыться на пожарном сеновале; вместо подушки клал под голову камень, вставал с зарею, надевал вицмундир, и тотчас же бил в барабан; курил махорку до такой степени вонючую, что даже полицейские солдаты и те краснели, когда до обоняния их доходил запах ее; ел лошадиное мясо, и свободно пережевывал воловьих жилы. В заключение по три часа в сутки маршировал на дворе градоначальнического дома, один, без товарищей, произнося самому себе командные возгласы, и сам себя подвергая дисциплинарным взысканиям».

Как карикатура на чрезмерную страсть к маршированию и выправке, эти выписанные нами строки не лишены остроумия и злости, но как черты характеров, подобных Угрюм-Бурчееву, они лишены всякого значения. Угрюм-Бурчеевы никогда себя не забывают и работают только для себя; сильной, непреклонной воли, самобичевания в них также никогда не замечалось. Сам г. Салтыков намекает на это, в конце очерка, когда народилась новая сила, и Угрюм-Бурчеев «моментально исчез, словно растаял в воздухе». Они не только исчезают, когда власть отнимается от них, но обнаруживают презренную трусость и готовность унижаться перед теми, которых вчера еще держали по два часа в своей передней на вытяжку. Лишь наружно они готовы показать спартанскую твердость и выставить напоказ свой протертый сюртук и изношенную шинель: для толпы ношение градоначальником, этой важной особью, старой шинели является чем-то грандиозным и внушающим почтение к себе; она готова бессмысленно повторять: «смотрите, дети, этот человек мог бы ежедневно надевать новую шинель и новый сюртук, но он ходит в старых. Какое величие!» Она готова удивляться старому сюртуку с таким же увлечением, с каким удивляется, глаза, блеску и золоту. Она не размышляет о том, что старым сюртуком прикрыта полнейшая нравственная разнузданность, выказывающая себя где-нибудь в четырех стенах, вдали от людских очей. Если же толпа способна создать себе культ из старой шинели, треугольной шляпы и серого сюртука, то действительные самобичевания и закаление своей природы тяжкими лишениями найдут между нею еще большее число поклонников, потому что лишения эти, в ее глазах, свидетельствуют о нравственной силе человека, о преданности его своей идее, хотя бы это была и дикая идея. Тут уж является фанатизм, способный жертвовать, во имя идеи, своей жизнью. Но еще не видано, чтоб Угрюм-Бурчеевы были способны на такие подвиги: они, как только достигли власти, скорей пожертвуют тысячью жизней других, чтоб сохранить в целости свой указательный перст и продолжить свое благосостояние, чем уронить волос с головы своей.

Если эти недостатки и вредят цельности образа Угрюм-Бурчеева, то настолько незначительно, что не разрушают впечатления, оставляемого в читателе всем очерком, более существенными сторонами его. Самый тон юмора гармонирует как нельзя лучше с содержанием, и что всего замечательнее, глуповцы просыпаются и начинают тайную борьбу с этим страшилищем; в конце концов, сатирик сжалился над ними, или, лучше сказать, в конце концов сатирик приблизился к истории, хотя и не совсем. Он все еще продолжает думать, что глуповцы проснулись частью оттого, что разглядели идиотство своего градоначальника, частью... Но тут является крупное противоречие: мы видели, что пребывание глуповцев за границей породило в них женственность и разврат до такой степени, что смерды перестали пахать и загуляли, до отвалу наедаясь жирной кашей, а интеллигенция стала «равнодушна ко всему, что происходило вне замкнутой сферы езды на остров любви». Это было в 1815–1816-м году, как обозначил наш автор, при предместнике Угрюм-Бурчеева, Грустилове. И вот, объясняя пробуждение глуповцев, сатирик говорит, что тому способствовали «множество глуповцев», вернувшихся из

чужих краев, где они были для ратного дела и ученья. Очевидно, наш автор не совсем последователен, лучше сказать, он игнорирует историю, когда увлекается своею страстью к карикатуре и забавничанью, и вспоминает о ней, когда серьезная мысль начинает руководить им. Пусть сам он сравнит достоинство карикатуры, хотя и производящей смех, но витающей в области фантастично-нелепого, с достоинством сатиры и юмора, одушевленных реальною правдой и верной руководящей идеей. Пуская свой юмор в беспредельность, не ставя ему никаких границ, т. е. никакой идеи, он удачно начертит несколько картинок, попадет метко в несколько действительно смешных или возмущающих душу сторон нашей жизни, рассыплет цветы своего бойкого остроумия, но не создаст ничего цельного, ничего достойного своего таланта, и вместе с тем, как бы мимоходом, осмеет ненужным смехом такие явления, которые писатель, одушевленный идеей служения добру и правде, никогда бы не отдал на потеху смешливому легкомыслию.

Зато г. Салтыков становится другим человеком, когда ему удастся верно подметить причины известного явления и разгадать его сущность, или когда он доходит до этого изучением, или когда представляется ему материал, вполне очищенный критикою: он способен тогда возвыситься до настоящего одушевления и рисовать типические образы; тогда и архивариус из него вылетает бесследно, и смех его звучит не надорванной нотой усталого забавника, а едким сарказмом, и карикатура является осмысленной и понятной. Укажем в доказательство на несколько страниц, посвященных в очерке «Поклонение мамоне и покаяние», изображению состояния народного просвещения в Глупове, которое приняло юродивый характер. Начальником школ назначен был юродивый Парамон; товарищ его по юродству, Яшенька, получил кафедру философии, которую нарочно для него создали в уездном училище. Вот как действовали эти два достойные мужа:

«...Парамоша с Яшенькой делали свое дело в школах. Парамошу нельзя было узнать; он расчесал себе волосы, завел бархатную поддевку, душился, мыл руки мылом добела и в этом виде ходил по школам, и громил тех, которые надеются на князя мира сего. Горько издевался он над суетными, тщеславными, высокоумными, которые о пище телесной заботятся, а духовною небрегут, и приглашал всех удалиться в пустыню. Яшенька с своей стороны учил, что сей мир, который мы думаем очима своими видети, есть сонное некое видение, которое насылается на нас врагом человечества, и что сами мы не более, как странники, из лона исходящие и в оное же лоно входящие. По мнению его, человеческие души, яко жито духовное, в некоей житнице сложены, и оттоль, в мере надобности, спускаются долу, дабы оное сонное видение в скорости увидети и по малом времени вспять в благожелаемую житницу благопоспешно возлететь. Существенные результаты такого учения заключались в следующем: 1) что работать не следует; 2) тем менее надлежит провидеть, заботиться и пещись, и 3) следует возлагать упование и созерцать – и ничего больше. Парамоша указывал даже, как нужно созерцать. «Для сего – говорил он: – уединись в самый удаленный угол комнаты, сядь, скрести руки под грудью и устрями взоры на пупок».

По обычаю, нам следует сделать общий вывод из всего сказанного нами о г. Салтыкове. Но нужно ли это? Если б г. Салтыкова мы считали обыкновенным фельетонистом, произведения которого живут не дольше листа газеты, мы ограничились бы теми отлично выработанными общими местами об остроумии, меткости и злости, которые, несмотря на свою ординарность, все еще продолжают утешать авторов; но мы, несмотря на однообразие произведений г. Салтыкова, обусловленных заколдованной административной сферой, считаем их далеко не эфемерными, а талант его – весьма замечательным; а кому больше дано – с того больше и спрашивается. Вот наше заключение.

М. Е. Салтыков

Письмо в редакцию журнала «Вестник Европы»

Хотя и не в обычае, чтоб беллетристы вступали в объяснения с своими критиками, но я решаюсь отступить от этого правила, потому что в настоящем случае речь идёт не о художественности выполнения, а исключительно о правильности или неправильности тех отношений к жизненным явлениям, которые усмотрены автором напечатанной в «Вестнике Европы» (апрель, 1871) рецензии в недавно изданном мною сочинении «История одного города».

Я отдаю полную справедливость г. Б-ову: рецензия его написана обдуманно, и намерения её совершенно для меня ясны. Но и за всем тем мне кажется, что в основании его труда лежит несколько очень существенных недоразумений и что он приписал мне такие намерения, которых я никогда не имел. Очень возможное дело, что это произошло вследствие неясности самого сочинения моего, но и в таком случае моё объяснение не может счесться бесполезным, так как критике, намеревающейся выказать несостоятельность автора на почве мирозерцания, всё-таки нелишнее знать, в чём это мирозерцание заключается.

Прежде всего, г. рецензент совершенно неправильно приписывает мне намерение написать «историческую сатиру», и этот неправильный взгляд на цели моего сочинения вовлекает его в целый ряд замечаний и выводов, которые нимало до меня не относятся. Так, например, он обличает меня в недостаточном знакомстве с русской историей, обязывает меня хронологией, упрекает в том, что я многое пропустил, не упомянул ни о барах-волтерьянцах, ни о сенате, в котором не нашлось географической карты России, ни о Пугачёве, ни о других явлениях, твёрдое перечисление которых делает честь рецензенту, но в то же время не представляет и особенной трудности, при содействии изданий гг. Бартенева и Семевского. К сожалению, издавая «Историю одного города», я совсем не имел в виду исторической сатиры, а потому не видел даже надобности воспользоваться всеми фактами, опубликованными гг. Бартеневым и Семевским. Очень может быть, что я напишу и другой том этой «Истории», но не ручаюсь, что и тогда будет исчерпано всё содержание «Рус-

ского архива» и «Русской старины». Не «историческую», а совершенно обыкновенную сатиру имел я в виду, сатиру, направленную против тех характеристических черт русской жизни, которые делают её не вполне удобною. Черты эти суть: благодушие, доведённое до рыхлости, ширина размаха, выражающаяся с одной стороны в непрерывном мордобитии, с другой – в стрельбе из пушек по воробьям, легкомыслие, доведённое до способности не краснеть самым бессовестным образом. В практическом применении эти свойства производят результаты, по моему мнению, весьма дурные, а именно: необеспеченность жизни, произвол, непредусмотрительность, недостаток веры в будущее и т. п. Хотя же я знаю подлинно, что существуют и другие черты, но так как меня специально занимает вопрос, отчего происходят жизненные неудобства, то я и занимаюсь только теми явлениями, которые служат к разъяснению этого вопроса. Явления эти существовали не только в XVIII веке, но существуют и теперь, и вот единственная причина, почему я нашел возможным привлечь XVIII век. Если б этого не было, если б господство упомянутых выше явлений кончилось с XVIII веком, то я положительно освободил бы себя от труда полемизировать с миром уже отжившим, и смею уверить моего почтенного рецензента, что даже и на будущее время сенат, не имеющий исправной кары России, никогда не войдёт в число элементов для моих этюдов, когда как такой, например, факт, как распоряжение о писании слова «государство» вместо слова «отечество», войти в это число может. Сверх того, историческая форма рассказа представляла мне некоторые удобства, равно как и форма рассказа от лица архивариуса. Но, в сущности, я никогда не стеснялся формою и пользовался ею лишь настолько, насколько находил это нужным; в одном месте говорил от лица архивариуса, в другом – от своего собственного; в одном – придерживался указаний истории, в другом – говорил о таких фактах, которых в данную минуту совсем не было. И мне кажется, что в виду тех целей, которые я преследую, такое свободное отношение к форме вполне позволительно.

Сочетав насильственно «Историю одного города» с подлинной историей России, рецензент совершенно логически переходит к упреку в бесцельном глумлении над народом, как непосредственно в собственном его лице, так и посредственно в лице его градоначальников. «Органчик» его возмущает, «Сказание о шести градоначальницах» он просто называет «вздором». Очевидно, что он твёрдо встал на историческую почву и совершенно забыл, что иносказательный смысл тоже имеет право гражданства. Что в XVIII веке не было ни «Органчика», ни «шести градоначальниц» – это несомненно; но недоразумение рецензента тем не менее происходит только от того, что я употребил не те слова, которые, по мнению его, надлежало употребить. Если б, вместо слова «Органчик», было поставлено слово «Дурак», то рецензент, наверное, не нашел бы ничего неестественного; если б, вместо шести дней, я заставил бы своих градоначальниц измываться над Глуповом шестьдесят лет, он не написал бы, что это вздор (кстати: если б я действительно писал сатиру на XVIII век, то конечно, ограничился бы «Сказанием о шести градоначальницах»). Но зачем же понимать так буквально? Ведь не в том дело, что у

Брудастого в голове оказался органчик, наигрывавший романсы: «Не потерплю!» и «Раззорю!», а в том, что есть люди, которых всё существование исчерпывается этими двумя романсами. Есть такие люди или нет?

Затем, приступая к обличению меня в глумлении над народом непосредственно, мой рецензент высказывает несколько теплых слов, свидетельствующих о его личном сочувствии народу. Я верю этому сочувствию и радуюсь ему; но думаю, что я собственно не подал никакого повода для его выражения. Посмотрим, однако ж, на чем зиждутся обличения рецензента.

Во-первых, ему кажутся совершенным вздором (кстати: слово «вздор», как критическое мерило, представляется мне совершенным вздором) названия головотяпов, моржеедов и проч., которые фигурируют у меня в главе «О корени происхождения». Не спорю, может быть, это и вздор, но утверждаю, что ни одно из этих названий не вымышлено мною, и ссылаюсь в этом случае на Даля, Сахарова и других любителей русской народности. Они засвидетельствуют, что этот «вздор» сочинён самим народом, я же, с своей стороны, рассуждал так: если подобные названия существуют в народном представлении, то я, конечно, имею полнейшее право воспользоваться ими и допустить их в мою книгу. Если, например, о пошехонцах сложилось в народе поверье, что они в трех соснах заблудились, то я имею вполне законное основание заключать, что они действительно когда-нибудь совершили нечто подходящее к этому подвигу. Не буквально, конечно, а в том же смысле.

Во-вторых, рецензенту не нравится, что я заставляю глуповцев слишком пассивно переносить лежащий на них гнет. На этот упрёк я могу ответить лишь ссылкой на стр. 155–158 «Истории», где, по моему мнению, явление это объясняется довольно удовлетворительно. Я, впрочем, не спорю, что можно найти в истории и примеры уклонения от этой пассивности, но на это я могу только повторить, что г. рецензент совершенно напрасно видит в моём сочинении опыт исторической сатиры. Притом же, для меня важны не подробности, а общие результаты; общий же результат, по моему мнению, заключается в пассивности, и я буду держаться этого мнения, доколе г. Б-ов не докажет мне противного.

В-третьих, рецензенту кажется возмутительным, что я заставляю глуповцев жиреть, наедаться до отвала и даже бросать хлеб свиньям. Но ведь и этого не следует понимать буквально. Всё это, быть может, грубо, аляповато, топорно, но тем не менее несомненно – иносказательно. Когда глуповцы жиреют? – в то время, когда над ними стоят градоначальники простодушные. Следовательно, по смыслу иносказания, при известных условиях жизни, простодушие не вредит, а приносит пользу. Может быть, я и не прав, но в таком случае во сто крат неправее меня действительность, связавшая с представлением о распорядительности представление о всяческих муштрованиях. Что глуповцы никогда не наедались до отвала – это верно; но это точно так же верно, как и то, что рязанцы, например, никогда мешком солнце не ловили.

Вообще, недоразумение относительно глумления над народом, как кажется, происходит от того, что рецензент мой не отличает народа исторического, то есть действующего на поприще истории, от народа как воплотителя идеи

демократизма. Первый оценивается и приобретает сочувствие по мере дел своих. Если он производит Бородавкиных и Угрюм-Бурчеевых, то о сочувствии не может быть речи; если он высказывает стремление выйти из состояния бессознательности, тогда сочувствие к нему является вполне законным, но мера этого сочувствия всё-таки обуславливается мерою усилий, делаемых народом на пути к сознательности. Что же касается до «народа» в смысле второго определения, то этому народу нельзя не сочувствовать уже по тому одному, что в нём заключается начало и конец всякой индивидуальной деятельности. О каком же «народе» идёт речь в «Истории одного города»?

Обличив меня в глумлении над народом, г. рецензент объясняет и причину этого глумления. Эта причина – недостаток «юмора». Юмор же рецензент определяет следующим образом: он, «не жертвуя малым великому, великое низводит до малого, а малое возвышает до великого»; следовательно, главные элементы этого явления суть: великодушие, доброта и сострадание. Если это определение верно, то мне действительно остается признать себя виноватым. Но я положительно утверждаю, что оно неверно и что искусство, точно так же как и наука, оценивает жизненные явления единственно по их внутренней стоимости, без всякого участия великодушия или сострадания. Если бы это было не так, то произошло бы нечто изумительное. Во-первых, люди не знали бы, что в написанной художником картине действительно верно и что смягчено, или скрыто, или прибавлено под влиянием великодушия. Во-вторых, тогда пришлось бы протирать руки не только подначальным глупцам, но и Прыщам, и Угрюм-Бурчеевым, всем говорить (как это советует мне рецензент): «Придете ко мне все труждающиеся и обремененные», потому что ведь тут все обременены историей: и начальники, и подначальные.

Но этого мало, что я нахожу упомянутое выше определение юмора неправильным и бессодержательным, – я вижу в нем глумление. По моему мнению, разделение жизненных явлений на великие и малые, низведение великих до малых, возвышение малых до великих – вот истинное глумление над жизнью, несмотря на то что картина, по наружности, выходит очень трогательная. Тут идёт речь уже не о временно-великих или о временно-малых, но о консолидировании сих величин навсегда, ибо иначе не будет «юмора».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ЗАПАД

Н.В.Шелгунов

От редакции

Эта статья находится в начале последнего прижизненного Собрания сочинений Н. В. Шелгунова. Она резюмирует труд его жизни. В предисловии «От автора» он пишет:

«В настоящем сборнике помещена только часть того, что мне случилось написать. Основанием для выбора статей служило поставленное издателем условие, чтобы «в собрание вошли только те из них, которые имели не временный интерес». Этим справедливым требованием вполне и определился выбор.

Собранные статьи имеют почти исключительно исторический и научный характер. Трактуют о вопросах по-видимому разнообразных – то исторических, то педагогических, экономических, критических или публицистических – статьи только дополняют одна другую. Проводится в них постоянно одна и та же мысль, в исторических статьях получающая историческое объяснение, в экономических – экономическое, в педагогических – педагогическое, в публицистических – публицистическое. Такая внутренняя связь статей сообщает сборнику известную идейную цельность, а статья 1-го тома – «Европейский Запад» – служит как бы введением для всего последующего изложения, устанавливая христианские основы той общественной нравственности, которой служит новейший прогресс.

Статьи, предлагаемые читателю, писаны в шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годах, до 1891 года, и обнимают период времени в 30 лет. Писались статьи всегда или по поводу интересов дня или по поводу вопросов близких для той части общества, для которой они назначались. Если тридцатилетняя давность не помешала статьям совсем устареть, то не следует ли из этого заключить, что вопросы прошлого не утратили своего значения и для настоящего, а в продолжающейся их преемственной напряженности видеть неизбежность их ближайшего практического разрешения?»

Разумеется, «христианские основы нравственности» заменяют здесь, для цензуры, совсем другие взгляды неверующего автора. Существенным содержанием его веры является историческая роль интеллигенции.

Деление всемирной истории на три эпохи – древность, Средние века и Новое время – имеет объективный смысл. Древность можно описать как рабовладельческое общество, средневековье как феодальное общество, и Новое время как буржуазное общество. Та историческая эпоха, которая начинается в наши дни, еще не приняла столь определенных черт, чтобы ее можно было описать краткой формулой, но буржуазное общество очевидным образом

доживает свои дни. Во всяком случае, собственность, не созданная собственным трудом, перестала быть предметом гордости и становится предметом стыда.

Границы исторических эпох не могут быть определены хронологически, точно так же, как нельзя в точности указать, в какой момент ребенок становится юношей, или юноша – взрослым. Но между старой и новой эпохой, как утверждает Шелгунов, всегда находится особый тип людей, знаменующий этот переход и стремящийся, сознательно или нет, его осуществить. Вместо отдельных еретиков и новаторов, оспаривающих отдельные стороны принятой картины мира и унаследованной социальной действительности, является сплоченная масса людей, отрицающая весь старый мир и утверждающая новый. На языке современной науки такие группы называются субкультурами. Шелгунов называет эти особые субкультуры интеллигенцией. Между древностью и средневековьем он находит ранних христиан; между Средними веками и Новым временем – просветителей 18-го века; между Новым временем и неведомым будущим – европейских социалистов и, в частности, русских интеллигентов. Эта схема мировой истории, согласная с представлениями современной науки о поведении – этологии – представляет собой замечательное, не замеченное и не оцененное открытие Шелгунова.

Н. В. Шелгунов Европейский запад

I

Когда говорится о греко-римской цивилизации, то всегда предполагаются ее вершины; но по этим вершинам можно судить так же безошибочно о классических временах, как по жизни английской королевы и английских лордов о жизни английского крестьянина. Жизнь другого слоя, лежавшего у подножия вершин, осталась вне истории, вне памятников искусства, вне литературы. О жизни этих низин можно судить только по государственным учреждениям и юридическим памятникам. Вот что, между прочим, говорят эти памятники.

Греки и римляне считали труд делом позорным. Аристократы по мировоззрению, они взяли на себя только отрасли высшего труда – военное и государственное управление, а для всего остального держали рабов. Самым унижительным трудом считался труд земледельческий. На земледельческого раба смотрели хуже, чем на животное. Его держали в цепях или в колодках и заставляли работать до упадка сил. Рабам брили головы и на лбу выжигали клеймо. Раб не пользовался никакими гражданскими правами и стоял вне закона. Для рабов не существовало даже брака, в собственном значении этого слова. Так как раб считался животным, то мужа можно было продать отдельно от жены, детей отдельно от родителей. О больном рабе заботились меньше, чем о комнатной собаке, а мертвых – или выкидывали на съедение зве-

рям, или зарывали где-нибудь в яму. Жестокость обращения с рабами была доведена до систематического зверства. Местами вошло в обычай сечь рабов для острастки в начале года. За самую ничтожную вину рабов подвергали истязаниям и господин мог по одному капризу бросить раба в воду на съедение рыбам, повесить, распять на кресте. Если же какой-нибудь озлобленный раб убивал, в момент отчаяния, своего мучителя – казнили не только виновного, но и всех, кто жил с ним под одной кровлею²⁴.

Гражданину – державному пролетарию – жилось тоже не особенно хорошо. Пролетарием считался гражданин, не имевший собственности. Он был, в сущности, нищий, но преисполненный римской спеси. Гордый своим гражданством, державный пролетарий посвящал свой праздный досуг разным бесчинствам; он готов был воровать, грабить, убивать и стал, наконец, истинным бичом римского правительства. Но не сам собою, не добровольно пролетарий занял в государстве такое унижительное положение. Он выработался исторически, в силу принципа, лежавшего в основе древнего государства. «И на войне, и дома, – говорит римский историк, – все зависело от произвола немногих. У этих людей была в руках и казна, и провинции, и государственные должности, и слава, и триумфы. Народ же стонал под гнетом солдатчины и нужды. Всю добычу забирали к себе полководцы и их окружающие. В то же время старики, родители воинов, и их дети, если их земля лежала рядом с землею вельмож, лишались своих домов и земля постепенно переходила в руки олигархов». Богачи, вытесняя постепенно граждан из их усадеб, завладели, наконец, всею римскою землею. Например, целая провинция Африки принадлежала шести аристократам. Этим способом свободные земледельцы, мало-помалу, исчезли, переселяясь в города и образовали, наконец, тот знаменитый, голодный и праздный римский пролетариат, который, толкаясь целый день по улицам и площадям и заразившись примером богачей, бесчинствовал, развратничал, шумел, бушевал и требовал «зрелищ и хлеба».

Кроме казенного хлеба и попрошайства, пролетарий жил прислужничеством. У каждого вельможи были свои клиенты, раболепствовавшие перед ним из-за куска хлеба и подарков. Клиенты составляли как бы придворный штат вельмож и с утра толкались у них в передних, заискивая милости. Когда вельможа выходил из дому, его сопровождала толпа угодников и льстецов, оспаривавших друг у друга честь наибольшего унижения. Прихвостничество превратилось, наконец, в чистое ремесло и клиенты перебежали от одного вельможи к другому, служа в одно время многим. Продавая свой голос, они образовали собою покупное избирательное средство. Во время Юлия Цезаря из 450 000 жителей Рима 320 000 были пролетариями и из них три четверти питались даровым хлебом.

Пока чувство своекорыстия не находило еще себе достаточной пищи, римская неравноправность не резко бросалась в глаза. Но вот могущество

²⁴ Такой закон существовал в древнем Риме. В 61 г. было казнено 400 рабов префекта города Педания Секунда, находившихся в доме во время его убийства. – *Примеч. ред.*

Рима растет все больше и больше, военные грабежи, громадные военные добычи, присвоенные себе военачальниками, и чиновничьи грабежи в провинциях собирают огромные состояния в руках немногих и тогда-то эти немногие становятся центром, около которого группируется вся сила, богатство и цивилизация римско-греческого мира. Роскошь, мотовство и разврат высшего слоя доходят, наконец, до невообразимых и невероятных размеров: люди обедают три, четыре, пять раз в день, посвящая остальной досуг разврату. До какого размера доходило обжорство богачей, можно судить по двум следующим фактам. Соус из языков ученых птиц, не составлявший особенной редкости между богачами, стоил 150 000 руб. Юлий Цезарь дал раз ужин, стоивший ему 5,25 миллионов рублей. Разврат дошел до такой противоестественности, что женщины менялись своими ролями с мужчинами, а мужчины с женщинами, жены цезарей превращались в публичных женщин, а цезари выходили замуж; первые должности в государстве раздавались за пьянство и разврат, который дошел, наконец, до того, что император давал государственные награды более утонченным развратникам и молодых сластолюбцев звал своими братьями по оружию.

II

Но если древняя жизнь упала до такой степени физического и нравственного разврата, что в ней не было ни права, ни правды, и человек жил хуже животного, то какая причина идеализации греко-римского мира и почему никто не идеализирует древнего Египта?

Историческое величие греко-римлян в том, что они были политическим народом; их мир мог погибнуть, но он не мог закаменеть. Две противоположные силы, два основных фактора политического прогресса постоянно боролись в этом замечательном историческом народе, соединявшем в себе всю интеллектуальную силу и весь политический смысл тогдашнего человечества.

Внутренней и внешней борьбой народ этот выработал ряд опытов и неудач, ряд ошибок и заблуждений, ряд характеров, замечательных по своему политическому достоинству и по своему политическому унижению. Ряд положительных и отрицательных приобретений, добытых человечеством этим путем, служит и до сих пор спасительным предостережением для народов, стремящихся к политической зрелости.

Как бы ни было сильно юридическое начало греко-римского государства, но противоположное ему начало было не слабее. В самые трудные моменты жизни оно не давало сломить себя окончательно, никогда не исчезало, никогда не глохло. В Египте, например, мы видим народ, оставивший поразительные памятники своего искусства, подавляющие своим размером и непостижимостью средств, употребленных для их сооружения. Но эти памятники прошедшего величия служат вместе с тем и памятниками рабства человеческого духа, ничтожества его нравственной энергии и отсутствия чувства нравственного самосохранения. Египетский царь не был для народа существом смертным: он был само солнце, действительное солнце. Ни один под-

данный не смел приблизиться к фараону, не повергшись во прах. И всемогущий фараон был волен над жизнью, смертью, над собственностью, над семьей, над всем домом каждого своего подданного. Во всю многовековую историю Египта ни одному египтянину не пришла ни разу мысль усомниться в непогрешимости государственного принципа и поднять голос на защиту своих человеческих прав и своего личного достоинства.

Поэтому все памятники египетского искусства, все грандиозные развалины Мемфиса и Фив, если бы эти города могли быть и еще роскошнее, чем они были, для нас не больше, как могильные памятники над прахом народа, не оставившего нам никакого политического наследства, никакой положительной полезной мысли, никакого руководящего идеала, никаких стремлений, которые бы стоило продолжать. Если бы Египет и вовсе не существовал, то последующая европейская история ничего бы не проиграла, ибо из Египта могла идти только идея рабства, а не идея свободы, не прогрессивная сила самопознающего духа, творящего общественный прогресс. Вот почему можно относиться с резким порицанием к социальным учреждениям греко-римского мира, проникаться негодованием к его злодействам, но в то же время нельзя не проникаться и чувством неудержимого восторга и гордости, нельзя не чувствовать ободряющей свежести и крепнущей энергии, когда в той же мрачной истории и в непрочной, неудавшейся гражданственности находишь непрерывный ряд фактов, выказывающих благородную сторону стремлений человечества, его неудержимый порыв к свободе, к восстановлению попираемых прав и угнетаемого человеческого достоинства. Даже римские рабы, заклеянные каленым железом, закованные в цепи и доведенные до состояния скотов, оказывались нравственнее и свободнее египтян, как это показал Спартак.

III

Древнее классическое государство стягивало все к одному началу, к одной идее – к поглощению лица принципом, и единоличный человек становился жертвой. Древнее государство не могло удовлетворить тех бесконечных комбинаций личных интересов, которые во всей совокупности представляли беспредельную область единоличных произволов, и постоянно колебалось между двумя непримиримыми крайностями. В этом убеждают нас две практические философские системы, выставившие два руководящих идеала. Эпикуреизм в лице Аристотеля, а потом Эпикура, возвел практику праздности, наслаждения и безумной роскоши, в которую впали аристократы, в теорию утонченного пользования духовными и материальными благами и указал ей высший идеал. Философия Эпикура пришлась сразу по вкусу всем знатым и богатым и скоро сделалась придворной философией древнего мира.

Эпикуреизм проповедовал утонченность манер и отношений и первобытную грубость бессмысленного богатства возвел в искусство и даже науку. Благодаря этой философии жизнь богатых превращалась в бесконечный ряд поэтических наслаждений, в нескончаемый источник высоких и сознатель-

ных радостей. В то же время резче, чем когда-либо, обозначалась пропасть, отделяющая богатых от бедных, утонченно развитых от грубых, наслаждающихся от не умеющих наслаждаться, знатных от простых. Эпикурейская философия научила богатых и знатных глупцов сознательно презирать бедных людей и считать их существами другой, более низкой породы. Бывшая до тех пор разница людей по богатству превратилась теперь в непримиримое различие людей по их достоинству.

Но и бедные не остались в долгу. Преграды, которые стояли перед ними, конечно, никогда не позволили бы им достигнуть знатности и богатства. Изменить такой порядок вещей оказывалось для бедняков невозможным, и потому нужно было найти какое-нибудь нравственное вознаграждение за материальные потери, – вознаграждение, которое бы поставило достоинство бедняков на одну высоту с достоинством богачей. Стоицизм явился философией гордого бедняка, научившей его презирать богатство и все его наслаждения.

Счастье не в роскоши, не в умственной пустоте высших классов, не в их праздной неге, а в чувстве независимости, в ограниченности своих желаний, решил стоик. Вся эта утонченность, внешний лоск и учтивость – не более, как лицемерие и двоедушие, за которыми скрываются грубейший эгоизм, бессердечие, грубость и разврат. В мире глупцов только тот будет истинно счастлив, кто сумеет встать выше суетных желаний, кто сумеет сохранить в естественной мере свои естественные потребности и кто познает самого себя.

Какой же практический общественный результат могли иметь оба эти учения? Нравственная сила, конечно, была на стороне стоиков, и лучшие люди всех времен всегда склонялись на сторону стоицизма. Но ни то, ни другое учение не могло быть возведено в социальное обобщение настолько, чтобы явиться руководящим общественным принципом. Эпикуреизм уже потому не мог достигнуть всеобщности, что богатых и знатных было всегда очень мало; что же касается стоицизма, то он мог быть доступен только ничтожному числу единиц. Во всем древнем мире отыскался всего один Диоген, да и тот не нашел ни одного человека по себе. Влияние этих учений было скорее разъединяющее, чем примиряющее, потому что возводило в сознание и даже в философскую систему антагонизм, бессознательно разделявший древнее общество. Не сумев найти выхода в политических и социальных учреждениях, мудрецы древности предложили человечеству разделиться на два лагеря. Одни стали смотреть сверху вниз с презрительным снисхождением, а другие – снизу вверх с гордым величием сознающей себя силы и нравственной независимости. Вопрос о равноправности, конечно, не разрешался теорией антагонизма.

IV

Подавляющее римское владычество должно было вызвать сильнейшую реакцию мысли именно там, где чувствовался сильнее гнет римского деспотизма. Такой страной оказалась Палестина. Иудеи давно уже страдали от собственных внутренних раздоров и от бездарности последних Маккавеев, и

римлянам не стоило никакого труда покорить нравственно павшую Палестину.

При Ироде, прозванном великим, притеснениям и гонениям не было конца. Подозрительный и злой, он совершал вовсе ненужные злодеяния. Зная, например, что его ненавидят, он, умирая, велел заключить в тюрьму несколько ни в чем не повинных граждан и казнить их, чтобы народ не радовался его смерти. При таких правителях жизнь была тяжела, страдания невыносимы, напряженное состояние доходило до последнего предела. Все, кто верил в возможность лучшего, кто не мирился с идеей вечного зла и с торжеством его над добром, кто сохранил в себе все лучшие чувства и стремления, с напряженной надеждой ждали перемен, твердо веруя, что старый порядок более невозможен и что Бог спасет свой избранный народ.

Евреи, по-видимому, носили в себе все задатки высшего человеческого развития, от которого можно было ожидать обновления. Единственная высшая власть, которую евреи признавали над собою, была власть Бога; вне Бога все считались равными, и человек не мог подчинять себе другого человека. Государственная идея евреев была идея религиозная, а не светско-политическая; их государство было религиозным братством, союзом равных и равноправных людей, судьбами которых руководил и управлял Бог. Бог был для них единственной всемогущей силой, которую они признавали над собою, и единственной внешней волей, которой они подчинялись. Это был уже совсем не тот идеал, под влиянием которого сложились аристократические учреждения греко-римлян.

Аристократы-фарисеи, державшиеся классического воззрения на жизнь, ставили форму выше содержания. Они думали, что избавитель явится в виде могучего и блестящего царя, который установит новый порядок, что он избрет своим орудием аристократов, наградит их почестями, богатством и затем вверит им управление освобожденной страной. У фарисеев был готовый римский идеал.

Ессеи держались другого образа мыслей²⁵. Они не придавали никакого значения форме и мало обращали внимания на букву закона. Немножко мистики, они отдавались высшему созерцанию, не признавали между людьми внешнего различия, считали себя равноправными братьями, отличались патриархальной простотой в обычаях и вели глубоко нравственную жизнь. Это были истинные демократы, вроде первых пуритан, люди непосредственного чувства, несколько склонные к пиетизму, гнушавшиеся всякого насилия. Поэтому-то они и не были способны к политической деятельности своего времени, когда только энергическая материальная сила создавала торжество.

Ессеи думали, что обновление мира должно совершиться чисто нравственным путем и что спасение явится духом, а не плотью. Ожидая, как фарисеи, Мессию, они заботились о собственном нравственном исправлении и не задавались никакими политическими идеалами. В этом отношении они со-

²⁵ Ессеи, или эссены – еврейская секта, которой автор заменяет, в цензурных соображениях, ранних христиан. Как показали находки в пещерах Кумрана, близ Мертвого моря, ессеи в самом деле были предшественниками христиан. Дальше по той же причине христианство часто заменяется «католичеством». *Примеч. ред.*

ставляли полнейшую противоположность с практическими юристами – римлянами.

Новая проповедь любви и братства, религия милосердия и прощения, вера не в карающего и грозного Иегову и Юпитера громовержца, а в Бога всеблагого и милостивого, в Бога, как источник истины и добродетели, возвышающего чувства над страстями, украшающего дух, равняющего всех людей перед собой – знатных и незнатных, богатых и бедных, царей и рабов, – такая религия слишком отвечала наболевшему чувству угнетенных масс, чтобы не привлечь их под свое гуманное знамя.

Никакой Пилат, никакие преследования и казни не могли остановить новой истины и спасти старый принцип. Рассеявшиеся после разрушения Иерусалима евреи разнесли свою проповедь нового, всеблагого Бога во все римские владения. Они повсюду проповедовали равенство, братство и любовь и сулили счастье бедным и угнетенным. Этот новый принцип потряс в корне все римское мировоззрение. Он уничтожил веру во весь старый гражданский порядок, во все формы существовавшего социального устройства, погубил в идее весь древний быт и направил все усилия людей к формированию нового мировоззрения. Идея равного достоинства была, наконец, найдена и провозглашена. Теперь наступила для человечества пора приискания для нее соответственных политических и социальных форм.

V

Римский принцип если и не дал человечеству спокойствия и счастья, если он и не устроил на земле царствия Божия, то тем не менее все-таки разработал известный порядок идей, сообщил им логическую последовательность и создал такие привычки мысли, которые мог осилить лишь другой, более стройный и убедительный порядок мыслей. Рим выработал семейное, гражданское и государственное право, он создал формы власти и известные учреждения, в которых, в течение целого ряда веков, воспитывались сменявшие друг друга поколения и подвластные Риму варвары. И все это теперь следовало пересоздать, изменить, обновить и развить из нового начала новое семейное, гражданское и государственное право. Но по силам ли была такая задача простым людям, отправившимся проповедовать слово любви и братства? Под силу ли была такая задача людям, никогда не задававшимся ни политическими, ни государственными идеалами, чуждым всякого юридического развития и стоявшим исключительно на моральной почве? А если бы они и были сильны умственно, если бы они несли с собой повсюду готовый гражданский кодекс, как разносил по Европе Наполеон I республиканское законодательство Франции, что было бы тогда? Справилась бы человеческая мысль и человеческое чувство с такою всеобъемлющею революцией, грозившей перевернуть все кверху дном? Апостол Павел, римский воин и гражданин, воспитанный в юридических понятиях своего отечества, понимал очень хорошо, к чему может привести на практике логическая ревность проповедников нового начала. Ну, а если проповедь любви не достигнет своей цели, и бедняк, подавленный по-прежнему несправедливостью и не удовле-

творенный одним смиренномудрием, потребует справедливости и любви от богатых не на одних словах? И Павел испугался всех страшных последствий подобной возможности, хотя, с другой стороны, последствия бы были менее опасными, чем их предполагал Павел, ибо ессеи, чуждые всякого политического воспитания, едва ли были способны создать какие-нибудь новые юридические формы.

Таким образом, религиозный романтизм замкнулся с самого начала в самом себе и ограничил сферу своей деятельности одними пределами внутреннего единоличного мира, одною моральною областью, выделив из нее гражданина и имея дело только с человеком. Но и в этих сжатых границах новейший романтизм уклонился от своей прямой задачи.

Христианство, поучая любви, братству, равенству, не только не давало точных общественных формул, но с самого начала встало на теологическую точку зрения. Великий внутренний смысл учения, теряясь более и более в диалектических спорах из-за буквы, из-за формы, наконец, утрачивает свое значение, и вместо живого, обновляющего слова на сцене средних веков является мертвая теологическая схоластика. Католическая церковь, увлеченная этой формальной стороной нового культа, замкнулась в узкую юридическую сферу канонического права и идею братства превратила в иерархический принцип. Преемники рыбарей и простых учителей облеклись в пурпурные мантии и провозгласили себя властителями мира.

Вникая в характер всех католических споров и препирательств, нельзя не усмотреть в них сильного влияния греко-римской образованности. Не о существе учения возникают разногласия, не о развитии начал любви и гуманности в их логической последовательности, не об установлении новых формул общежития, основанных на новом принципе, провозглашенном христианством, не о движении мысли в новом данном ей направлении идут споры, — споры ограничиваются или вопросами, разрешение которых совершенно не зависит от человеческого понимания, потому что не дает ему твердой и несомненной точки опоры, или же касаются внешних сторон официальной церкви, возводя ее в известное юридическое учреждение. Из религии чувства, простой и понятной всякому необразованному человеку, из учения, сулившего мир, довольство, счастье и успокоение и потому привлекавшего к себе сердца всех простых людей, страдавших под гнетом римской неурядицы, сделали теперь головную задачу людей образованных, превратили ее в источник софистических споров и диалектических препирательств, совершенно непонятных и недоступных простолюдинам.

Люди мысли и не могли поступить иначе, хотя люди дела ничего от этого не выиграли. Но вопрос не в том, как люди мысли воспользовались глубоким смыслом нового мировоззрения, а в том, что они не пришли к другим выводам, отвечающим потребностям масс. А это и не могло случиться иначе. Все средневековые мыслители воспитались на началах классической образованности и в философских понятиях, созданных древним миром. Когда новые христианские начала разрушили римское мировоззрение и оказалось необходимым перестроить прежние понятия в более широкие представления, то фи-

лософы и писатели воспользовались настолько уже ранее существовавшим, что эта примесь придала совершенно иной характер простым истинам нового учения. Хуже всего то, что примесью послужил материал никуда не годный, создавшийся во время нравственного упадка римского общества.

Средневековые философы и писатели, воспитавшие свой ум в софистической диалектике, а свои понятия в началах неоплатонизма, умели весьма искусно связать новые начала с началами предыдущей эпохи. Созданный ими мистически-богословский мир выделил себя совершенно из действительной жизни, углубился в самого себя, не хотел знать общества и его интересов и в своем мрачном, суровом настроении явился представителем нетерпимости и крайнего деспотизма, совершенно обезличивавшего человека. Древний мир был гораздо гуманнее и терпимее. Римляне принимали к себе всяких богов – и халдейских, и египетских – и все принятые боги уживались у них рядом в полном согласии. Но представители средних веков, фанатизированные своим исключительным положением, не хотели терпеть с христианским Богом никакого другого бога и рядом с своими воззрениями никаких других воззрений. Вместе с этой нетерпимостью творцы средневековой доктрины совершенно разъединили мысль с жизнью или, вернее, для активного проявления мысли придумали совершенно неизвестную древнему миру деятельность. Мысль перестала быть гражданской. То, что в греко-римском мире создавало Демосфенов, Сократов, Ксенофонов, философов, патриотов, бойцов за гражданскую свободу и за целостность отечества, в новом средневековом обществе создавало творцов теории и практики отвлеченной морали и проповедников аскетизма.

Все это и должно было случиться, ибо в первые века средневековой эпохи дурные стороны римского язычества развились до такого размера, что должны были вызвать поправку, и поправку непременно из противоположного принципа, ибо в прежней идее ее не было. И вот мысль, не нашедшая удовлетворения в земном, реальном, уходит в отвлеченное; не удовлетворенная положительным и ясным, она ищет света в смутном, мистическом, таинственном; усомнившись в опыте и знании, она стала отрицать всякое свободное исследование, провозгласила созерцание и внутреннее откровение; увидя погибель в плотском и чувственном, она начала искать выхода в умерщвлении плоти; заблудившись в коллективном разрешении жизненных задач, она выделила человека из портящего его общества и заставила его думать только о себе; утомившись политической борьбой, она захотела отдохнуть и успокоиться в пустынном уединении.

Если греко-римское мышление было ошибкою, вызывавшей поправку, то и новая поправка, придуманная и установленная католичеством, тоже не привела к успокоительному результату. С одной стороны, католичество отвлекло мысль от всего практически-полезного, удовлетворяющего действительным нуждам человека и создало потребности фиктивные, вымышленные, питавшие только фантазию и располагавшие к идеальничанью; с другой – по закону сближения крайностей, – новое мировоззрение, вышедшее из принципа освобождения личной воли и братского равенства, пришло к полнейшему

подавлению личности и всякого свободного ее проявления. Первое надолго убило знание; второе пришло к фанатическому изуверству и к кровавым расправам, каких никогда не знал древний мир.

VI

Древний человек понимал знание, как дело насущной необходимости и практической полезности. Знание должно было служить земным целям. Поэтому, наука греко-римлян жила не в книгах и не в кабинетах ученых; их философия жила не в головах одних философов, – она жила на улицах, на площадях, на форуме, служа общему делу и государственным надобностям. Греческая и римская мысль, делая первые попытки знания и потому еще не богатая ими, должна была искать поддержки в предположениях и логических построениях. Поэтому, у древних философия, связывающая все единством одной идеи и дающая всему одну общую связь, является главным основным знанием. Но философия древних так же реальна, как и все их стремления; она держит человека на земле и учит его понимать только земное, доступное чувствам и ведущее к непосредственной пользе. Философия была наукой о человеке, обществе и государстве. По мере развития жизни, развилась, конечно, и философия, превратившаяся в неизбежное и необходимое средство приготовления человека для домашней, общественной и государственной деятельности. Философия являлась руководящим основанием не только частного и общественного поведения, но отвечала на все вопросы жизни, разрешала все недоумения и служила человеку даже убежищем в трудные минуты жизни, его отдыхом и успокоением. Служа чисто земным, непосредственным целям и сводя все их к одной идее государства, философия была душой, источником и основной нравственной силой, от которой зависело все величие древнего мира, его непонятный для нас патриотизм, его непонятные для нас подвиги гражданского мужества. Все остальные знания являлись лишь средствами и орудиями философии. Они должны были возбуждать общественные мысли и чувства именно в том направлении, которое хотела им дать философия. Поэтому, философия древнего мира есть не абстрактное умствование, она есть практическое гражданское знание, вне которого был немислим древний гражданин. Философ, ученый был, прежде всего, государственным деятелем, служившим своими умственными средствами государству и обществу. Вот почему все великие философы древности были в то же время и активными слугами своего отечества, и вы их встречаете то на форуме, то в суде, то на поле битвы. При Делосе Сократ сражался лучше всех афинян и если бы все сражались, как он, афиняне не были бы разбиты. Ксенофонт совершил знаменитое отступление во главе десяти тысяч; Демосфен сражался при Херонее. Платон, Аристотель, Ксенофонт посвящали всю свою деятельность общественному служению, то уча молодежь, то давая советы правителям. Нет в древнем мире ни одного великого мыслителя, ни одного талантливого человека, который в то же время не был бы практическим деятелем своей страны. Другого честолюбия, кроме патриотического, не знало чувство древ-

него мира в свою лучшую пору и слава вне общественного служения была немислима и невозможна.

Знание, служившее исключительно общественным целям, не имело поэтому никакой причины прятаться в четырех стенах или говорить кабалистическим, неясным языком. Напротив, оно хотело быть понятным и доступным каждому; оно стремилось туда, где было больше слушателей; оно не знало стен и ставило свою профессорскую кафедру на общественных гуляньях, на площадях, на улицах, среди народа, среди рабочих. Сократ поучал на улице или среди поля, или в мастерских работников. Академия Платона была городским гулянием и в своем саду он больше всего любил сходить с своими учениками. «Стоя» была тоже открытым местом для всех. Свободное и открытое для всех образование древних не знало ни комплекта учеников, ни экзаменов, ни скамеек: учился, кто хотел, сколько хотел, сколько мог и сколько понимал. Ксенократ, подобно Платону, считал академию таким заведением, в котором учеников следует знакомить со всеми потребностями государственной жизни и учить их быть патриотами и гражданами.

Последующая история указывает уже на новые факты. Вместо древней мысли, вращавшейся в самой жизни, мысли земной и непосредственной, занятой земными делами, является мысль робкая, как ребенок, боящаяся разных страхов, потому что она чувствует свое бессилие. Наука теперь оставляет улицу и площадь, она боится толпы и многолюдства и запирается в маленькую и тесную комнату, к дверям которой приставляет сторожа и называет эту комнату школой. Такой порядок оказывается очень спокойным для тех, кто запирает в школу, но знание от этого ничего не выигрывает, а мысль начинает страдать сухоткой. И недалёковидные историки, очень хорошо знакомые с делом, как оно было, все-таки уверяют, будто бы это был плодотворный период в истории мысли. Но когда же христианская идея хотела выключить знание из жизни и приставить к нему сторожа из доминиканов? Не она ли выросла прямо из жизни, не она ли явилась, чтобы поправить прежние ошибки, не она ли взяла под свое покровительство всех бедных и невежественных, и, конечно, не для того, чтобы сделать их еще беднее и невежественнее? Нет, не здесь, а в другом месте нужно искать причины схоластического направления средних веков, направления, порвавшего свою внутреннюю связь с христианской идеей.

VII

В католицизме необходимо различать две несогласные между собою идеи: идею официальной юридической церкви, вооружившейся всеми атрибутами материальной власти, и чисто христианскую идею, из которой вышел католицизм и которая впоследствии нанесла первый удар католичеству.

Официальная юридическая церковь, как учреждение государственное, есть отступление от основной христианской идеи, слишком возвышенной, чтобы люди средних веков могли ее усвоить во всей чистоте. Если чисто христианская идея и могла рассчитывать на фанатизм, то на фанатизм такой исключительный, на способность к такому самоотвержению и к такой любви

к ближнему, которые могли составлять только самое редкое исключение. И пока христианская пропаганда вращалась в низших слоях простых и бедных людей, христианская идея сохраняла в чистоте свой характер высокой гуманности, любви и личной свободы. Совсем иным становится эта идея, когда она воплощается в римско-католическую церковь. Это уже не свободная проповедь любви, братства и общего жития; это уже юридическое учреждение, с вполне организованными средствами классического римско-государственного величия и с чисто гражданскими поползновениями на теократическое владычество. Церковь эта борется с императорством за преобладание; она создает себе целую несокрушимую армию покорного, вполне дисциплинированного и зависимого монашества и пользуется страшным средством отлучения и проклятия. Она пользуется невежеством масс, их старыми языческими суевериями, превращая их в новейшее суеверие и под маской христианского смиренномудрия и всепрощающей благости вносит повсюду меч и разрушение, льет потоки крови, подавляет нравственную свободу, связывает мысль, оскорбляет чувство.

Не сразу обнаружилось подобное противоречие и несогласие двух противоположных идей – древнеклассической и новой христианской, которые хотела примирить в себе католическая церковь. Тем не менее, оно все-таки обнаружилось и сказалось.

Новые христианские народы, а особенно германцы, вступили в христианство с чисто реальным мировоззрением, и если они крестились так скоро, то, конечно, благодаря больше душеспасительной энергии Карла Великого, действовавшего, как Добрыня в Новгороде. Карл Великий велел раз изрубить пять тысяч саксонцев за то, что они не слишком торопились креститься и признавать его императорскую власть. Обещания выгод, подарки и лукавая ревность проповедников, не говоря про крещение мечом, много способствовали превращению Германии языческой в Германию католическую. Но Германия языческая, переменив название вещей, сохранила о них свое языческое представление. Ее простым, неизнеженным северным людям, чуждым римской цивилизации, были чужды и психические страдания павшего Рима. Германцы и славяне еще не совсем забыли, как они жили в своих лесах, как они творили свой народный присяжный суд, как они пользовались своим выборным началом, как их никто тогда не жег на кострах, не пытал пытками в застенках и не воспитывал в них политических и религиозных понятий виселицей и колесом. К этому присоединилось еще и то, что католическое смиренномудрие и десятина в пользу церкви проповедовались монахами с неизмеримо большим усердием, чем евангелие, что, благодаря воинским потребностям светской власти и душеспасительной корысти монахов, число свободных людей уменьшалось, а количество земель, принадлежащих монастырям, духовным и светским правителям, увеличивалось. Эта обидная практика никак не примирялась в понятиях простых людей с христианским идеализмом, который проповедовался с кафедры католическими монахами.

О католицизме, как об умершей передовой идее, особенно распространяться, по-видимому бы, и не нужно. Но, во-первых, католицизм – далеко

еще не окончательно сломленный враг, что показали еще недавно Франция и Германия; а, во-вторых, в католицизме есть много сторон, имеющих общий исторический интерес и не для одних католиков. Католицизм есть конгломерат понятий и идей, которым только и объясняется современный разброд европейских политических понятий. Первая исходная точка католицизма есть христианская идея любви, братства и равенства, кодексом которых являются евангелие и библия. Затем в католицизм входит мистический элемент Востока, противопоставляющий свой идеализм классическому материализму. Далее, с севера, от лесов Германии, входят идеи народов германского и славянского корня, которые уже имели своих богов, свои верования и суеверия, свои свободные учреждения, непохожие на римские, и свою грубую культуру, непохожую на греко-римскую цивилизацию. Наконец, из Рима, вместе с его головной образованностью, с его софистикой и схоластикой, с его привычкой к внешним логическим построениям, вносится логически-законченное римское право и идеи классического государства. Каждый из этих элементов есть противоречие один другому и, между тем, каждым из них пользовался и пользуется до сих пор католицизм.

VIII

Со времени первого христианства и организации классически-католического европейского государства прошел целый ряд веков, и все это время ознаменовалось рядом протестов, которые, какую бы они ни принимали форму, имели постоянно одну общественную сущность. Христианский принцип искал своей общественной формулы. Это искание обнаружилось и в альбигойских войнах, в войне гуситов, в учении Виклефа, в реформации, великом авантюризме конца XV-го столетия, – авантюризме, как бы недовольном Европой и искавшем более счастливого уголка на земном шаре. И такой уголок нашелся в Америке. Небольшая кучка суровых пуритан, отстаивавших свободу совести, переплыла океан и поселилась в нескольких деревнях, в которых они устроили по своему вкусу порядок управления, народную школу, свободную церковь и положили основание государству, которому в Европе никогда бы не удалось устроиться. В Америку ушли люди, которые с чисто-христианскими воззрениями на взаимные отношения внесли и известную политическую зрелость, и потому они устроили свои политические отношения на условиях такой равноправности, какая в Англии была невозможна.

Но и новое американское государство было бы невозможно без того движения идей, которое подготовила ему Европа. Прогресс европейской мысли охватывал все области человеческого ведения; подкапывая шаг за шагом понятия, унаследованные от древнего мира и католического европейского государства, Европа, без различия национальностей, работала в отрицательном направлении и выставила целый ряд деятелей, которые, каждый на своем поприще, но все без исключения, трудились в одном направлении. Кеплер, Галилей, Джордано Бруно, Декарт, Ньютон, Бекон, Локк, Спиноза,

Маккиавели, Гвичардини, Давила²⁶, Сарпи, Санозаро, Аретино, Петрарка, Боккачио, Ариосто, Тасс, Сервантес, Кальдерон, Мендоза, Камознс, Шекспир, Поп, Свифт, Адисон, Ричардсон, – каждый тем или другим способом вносил сомнения в прежние традиционные верования и работал в пользу новых понятий, новых идей и новых общественных отношений. Смелость некоторых из мыслителей была так велика, что, например, Бэйль почтительным тоном, но в то же время и в остроумной форме, заявлял самое глубокое сомнение в католицизме и доказывал, что неверие лучше суеверия. Он дошел до того, что утверждал, что государство может состоять из атеистов и что нравственность существует независимо от культа.

Фонтенель, сотрудник Бэйля, в самый момент преследования протестантов, написал аллегорическую сатиру на католицизм и в своей книге («Разговор о множестве миров»), популяризируя идеи Коперника и Декарта, доказывал, что звезды вовсе не лампы, висящие на своде небесном, а небесные тела, на которых, вероятно, развивается своя жизнь. В XVIII-ом столетии либеральное мышление сделало уже такой прогресс, что Вольтер во всю свою столетнюю протестующую деятельность просидел в Бастилии всего 1½ года и ни одному католическому монаху даже и не пришлось в голову сжечь его, как еретика. Либеральная литература распространилась в XVIII-ом столетии во Франции в таком размере, что читал уже каждый сапожник и каждый булочник; читал и думал, но думал уже по-новому. Малерб по этому случаю сказал, что «литература и философия завоевали себе во Франции такую же свободу, как в древней Греции, и каждый, способный мыслить и писать, думает в направлении общего блага». Рядом с Вольтером, глубоко волновавшим общественное мнение Европы, стояли энциклопедисты и Руссо, которые волновали общественное мнение еще больше. Когда в 1751–1752 гг. вышли два первые тома Энциклопедии, то, по словам Барбье, «их читали все парижские лавочники и тряпичники». Конечно, духовенство не осталось этим довольно и парижский архиепископ издал даже против Энциклопедии «пастырское послание».

Какого рода идеи распространялись писателями XVIII столетия и в каком направлении шло движение мысли, читатель увидит из следующего. Кондильяк, в «Трактате об ощущениях», сводил всю психическую деятельность человека к чувственному ощущению и к деятельности нервов. Морели, в «Кодексе природы», рисовал самые привлекательные картины нового общественного устройства и золотой век общего довольства и счастья среди юридического и экономического равенства. Гельвеций, в книге «О разуме», указывал на эгоизм, как на начало всего человеческого поведения и как на единственный двигатель всех поступков – унижительных, вредных и преступных,

²⁶ Давила – итальянский государственный деятель и историк (1576–1631), автор «Истории гражданской войны во Франции». Сарпи – итальянский ученый (1552–1623), которому приписывается открытие кровообращения. Саннадзаро – итальянский поэт и гуманист (1456–1530). Мендоза – вероятно, имеется в виду первый вице-король Новой Испании (Мексики) (1490–1552), устроивший первый в Америке коллеж и первую типографию. – *Примеч. ред.*

так и подвигов величайшего мужества, героизма и высочайшей чести. По его определению, добро есть то, что согласно с общим интересом, а зло – что вредит обществу. Книга Гельвеция выдержала, в короткое время, 50 изданий, несмотря на то, что ее сожгли публично по определению парламента. Какой прогресс! Европейское католическое государство жгло уже книги, а не людей. Гольбах, в «Системе природы», доказывал, что все в природе совершается по неизменным законам и от этих законов человек не может освободиться даже в движении своей мысли. Гольбах говорил, что человек мыслит и чувствует потому, что в нем есть органы чувств и нервная система. Представить себе мысль вне органов, ее производящих, – то же самое, что представить музыкальный звук без музыкального инструмента, или вообразить действие без причины. Процесс жизни заключается в постоянном передвижении частиц, никогда не исчезающих, а только меняющих форму и место. Тот же процесс совершается и в человеке, – поэтому процесс мышления есть процесс передвижения и химического изменения частиц, отличающийся характером неизбежной необходимости. Преступления нет, говорит Гольбах, в природе нет ни добра, ни зла, а существует только бесконечный ряд причин и следствий.

Подобные идеи не могли не произвести умственной революции, ибо совершенно противоречили всем знаниям и понятиям, оставленным в наследие древним миром и средними веками.

IX

Пока сознание пробуждалось и формировалось в отдельных областях знания, выражаясь в трудах отдельных мыслителей и общественных деятелей, как Джордано Бруно, Иван Гус, движение мысли являлось частичным и слабо обнаруживалось в общественной жизни. Но вот труды работников мысли растут, число их увеличивается, исследование уже не ограничивается только областью неба и души, но спускается на землю, анализирует человеческие отношения, забирается в области права и земной власти, являются гениальные критики, публицисты, популяризаторы, как Вольтер, Руссо, Даламбер, Дидро, и частичное сознание формируется в цельное общественное мирозерцание, в законченную систему, в определенный план для практического поведения. Сознание, бывшее когда-то частичным, становится всеобщим и превращается в могучее общественное мнение; оно с быстротой и силой лавины разрушает старый порядок, ниспровергает все препятствия и в своем бешеном стремлении уничтожает все, что пытается его остановить или задержать.

Для основной идеи настоящей статьи вовсе не важна конкретная форма, в которой выразилась борьба старого и нового порядка. Она могла быть такой, но могла быть и другой. В Америке общественное сознание проявилось в форме мирного прогресса и мирного устройства отношений; во Франции, напротив, бурно и разрушительно. Это вопрос народного темперамента и тех препятствий, которые встретило общественное сознание в своем стремлении к воплощению. Для нас важны не внешние средства, которые употреблялись

для борьбы, а причины, создавшие всеобщее стремление к переменам. А причины заключались в сознании, ставшем настолько всеобщим, настолько определенным и законченным для целой области юридических отношений, что перед его властной силой не мог устоять порядок прежних идей. В сущности, это было идейное торжество нового знания над старым.

Но новый порядок, написавший на своем знамени «свобода, равенство и братство», в гордом увлечении быстротой и решительностью своего торжества, слишком преувеличивал свое значение. Формула нового порядка, введенная только в области юридических и политических отношений, оказывалась довольно узкой и не разрешавшей вполне вопроса о равном достоинстве. Уже в самом разгаре борьбы за политическое равенство явились люди, которые, как Бабеф, доказывали, что политическое равенство не создает еще полной свободы, равенства и братства, не водворит на земле Царства Божия, не сделает бедных богатыми и несчастных счастливыми. Бабеф за свой протест поплатился головою, но правда оказалась не на стороне казнившего его конвента.

Пока Европа устраивала новые политические отношения и формировала новый уклад, параллельно с ее политическим ростом развивалось и крепло стремление к иному более широкому сознанию, полнее охватывающему идею равного человеческого достоинства. И теперь, как во времена эссеистов, бедные и захудалые очень хорошо видели, что юридическая область мысли не даст им ни успокоения, ни счастья и материального довольства. Власть человека над человеком ограничивается не одной областью исключительно политических отношений, но гораздо больше зависит от отношений, на которые указывал Бабеф, т. е. от социально-экономических условий, в которых и лежит источник политической и юридической власти. Древний бедняк, не умея разрешить этого вопроса, пытался найти моральное удовлетворение в философии стоицизма. Но теперь эта философия не могла уже служить выходом. Исследование экономических и социальных отношений выяснило такую массу жизненных явлений и установило для них законы, что незачем было искать удовлетворения в философии мужественного терпения, когда предстояла возможность к установлению совсем иных практических отношений.

И вот XIX век выступает с своими собственными задачами и с своею собственной программой, которой XVIII век даже и не предусматривал. Восторженная вера XVIII в. во всемогущество политических перемен оказывалась бессильной перед новыми, более сложными и глубокими запросами жизни. Ответ на них вскоре и явился.

Если XVIII век выставил целую массу ученых и публицистов, то XIX век выставил не меньшую массу гениальных мыслителей и энергических, неутомимых исследователей, которые предлагали обществу на перерыв разрешение томивших его общественных проблем. Это движение мысли началось с тридцатых годов, когда поуспокоилась политическая реакция. Сен-Симон,

Фурье, Кабэ, Овен, Пьер-Леру²⁷, Луи-Блан, Прудон, Стюарт-Милль, Энгельс, Маркс, Родбертус, Джордж, Фейербах, Конт, Шопенгауер, Гартман, Ланге, Дюринг, Дарвин, Спенсер, Лебок, Геккель и масса популяризаторов и публицистов внесли в европейское общество такую массу новых идей и знаний настолько определенных, что передовое общественное знание можно уже считать окончательно установившимся и окрепшим в социологическом направлении.

В этом отношении XVIII век составляет прямую противоположность XIX столетию. Тогда наука открывала перспективы жизни только для третьего сословия и работала в пользу индивидуализма; теперь она расчищает путь для четвертого сословия и для коллективизма. Результаты, которых достигло в настоящее время общественное сознание, настолько точны и определительны, что четвертое сословие уже готовится выступить самостоятельной умственной и общественной силой с собственными вождями, ораторами и руководителями. По крайней мере в Англии, во Франции, а частью в Германии результаты эти несомненны.

Но есть и еще разница между XVIII и XIX столетиями. Интеллигенция XVIII ст. была чисто буржуазная, ибо третье сословие было тогда «все», а его власть и политические интересы были единственной целью, которая достигалась. В XIX ст. исследование первобытных обществ, экономических и социальных законов ими управляющих, беспощадный анализ европейских экономических явлений и отношений, расследование законов, управляющих производством и распределением, исследование аграрных отношений, быта общин и т. д. сообщили идеям небывалую ширь, и интеллигенция, воспитанная на них, неизбежно должна была получить стремление к широким, всеобхватывающим реформационным задачам и бесстрашно смотреть на неизбежно предстоящее Европе радикальное преобразование и даже торопить его. Из этой же широты мысли возникла и другая особенность европейской интеллигенции XIX столетия – она стала представительницей, так сказать, всеобщей человеческой правды, отдала все свои силы на служение общей истине и идеалу общего блага и добра. Это служение расширенному общественному интересу, а не частичному, как было в XVIII столетии, было неизбежным следствием всепроникающего движения науки и исследования, во главе которых встало естествознание, обратившееся к изучению законов органической жизни, начиная биологией и кончая социологией. Буржуазная интеллигенция XVIII столетия не имела этого характера, и только интеллигенция XIX столетия, воспитавшаяся на обобщениях, поставила целью своих стремлений счастье всех обездоленных и общее равенство на пиру природы, на котором все приглашенные и нет никого избранных. Это апостольское служе-

²⁷ Пьер Леру – французский философ и публицист, социалист (1797–1871). Родбертус – немецкий экономист, сторонник социального реформизма (1805–1875). Генри Джордж – американский публицист и политический деятель, проповедник земельной реформы (1839–1897). Гартман – вероятно, Эдуард фон Гартман, немецкий философ, исследовавший бессознательную деятельность психики (1842–1906). Ланге – вероятно, Фридрих Альберт Ланге, немецкий писатель и философ социал-демократического направления (1828–1875). Лебок – английский натуралист и палеонтолог (1834–1913). – *Примеч. ред.*

ние истине, служение, чуждое всего личного, своекорыстного, голословного и неравномерного, выделяет интеллигенцию XIX столетия из всего того, что видела история до сих пор.

Нельзя сказать, чтобы практические результаты, которых достигло общественное сознание, руководимое интеллигенцией, способствовали бы напряжению передовой идеи. К несчастью Европы, в ней совсем нет таких даровитых и проницательных государственных людей и правителей, которые были бы способны правильно понять свои обязанности по отношению к задачам времени. Поэтому-то довольно трудно предсказать, когда новое и справедливое движение мысли найдет свое полное осуществление. Но случится ли это в конце XIX ст. или в начале XX века, несомненно только одно, что идеал равного достоинства, для осуществления которого Европа работала девятнадцать веков, является на глазах современной истории настолько сознательным, руководящим представлением, что полное практическое торжество его есть только вопрос времени.

История не знает увлечений. Она заносит на свои страницы с полным бесстрашием, как имена Юлианов-отступников и защитников изжившего, так и имена жертв, вырванных из передовых рядов движения, зарвавшихся иногда слишком вперед. Но жизнь имеет дело не с историей. Поэтому для каждого мыслящего человека нравственно мучительно видеть, сколько в текущей борьбе разбивается индивидуального счастья, сколько гибнет и исчезает отдельных личностей, вся вина которых иногда только в том и заключается, что они стояли впереди. Но если торжество истины заключается в том, что идея общего равномерного блага и равного материального и нравственного достоинства возьмет верх над индивидуализмом и неравенством, то несомненно также и то, что наступит пора, когда у социального прогресса не будет более жертв и он пойдет вперед, не теряя своих бойцов, как не теряет их нынче третья сословие.

Собрание сочинений, изд-во Ф. Павленкова, Спб., 1891, т.1

САМОСОЗНАНИЕ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

А. И. Фет

Есть не так уж много русских слов, вошедших в международное обращение и оказавших влияние на развитие мировой культуры. Слово, стоящее в заглавии этой статьи, заслуживает особого внимания. Смысл его в нынешней России все еще не утрачен, хотя оно и подверглось девальвации, как и другие важные слова. В наши дни интеллигентом считает себя каждый получивший от государства какой-нибудь диплом; а поскольку без диплома у нас не проживешь, то, пожалуй, половина населения России может теперь претендовать на принадлежность к интеллигенции. Но в то же время сохранилось и представление, что кроме диплома есть еще какое-то более высокое качество человека, описываемое как «интеллигентность» и напоминающее о прошлом, когда это качество встречалось чаще и в лучшем виде. О человеке могут сказать, не справляясь о его дипломе, что у него «интеллигентное лицо» или «интеллигентная речь». Представление об «интеллигентности» выражает ностальгию по прежней России.

В действительности русская интеллигенция была важной общественной группой, очень непохожей на нынешних «работников умственного труда» – как правило, государственных служащих с психологией чиновников. Чтобы понять, чем была и чем может быть интеллигенция, надо напомнить, *как она сама себя понимала.*

Многие особенности нашей интеллигенции, часто обсуждавшиеся в литературе, были свойственны исключительно России, как и самое слово «интеллигенция». Французское слово *intelligence*, или английское того же написания, означает «умственную способность», а вовсе не общественную группу людей. Этот новый смысл появился в России и отразился, например, в английской транскрипции *intelligentsia*, воспроизводящей русское произношение и передающий русский смысл этого слова. Во многих странах обнаружались группы людей, напоминающие русскую интеллигенцию и обозначаемые, основательно или нет, тем же названием. Постепенно наше особенное слово стало международным термином, но вряд ли его подлинное значение было где-нибудь так ясно понято, как в России.

Самое глубокое и общее представление о роли интеллигенции выразил выдающийся русский мыслитель Николай Васильевич Шелгунов. Готовя к печати второе издание своих Сочинений, он предпослал им, в виде общего введения, статью «Европейский Запад», где историческое значение интеллигенции объясняется так, как понимали его сами русские интеллигенты. Я изложу дальше на современном языке главные идеи этой статьи, раскрыв цензурные недомолвки. [Эти идеи получили подтверждение в современной биологической науке о поведении – этологии, создателем которой был Конрад

Лоренц. Следующее дальше описание субкультур пользуется языком этой науки.]

Люди каждой культуры живут по ее обычаям, придерживаясь некоторой устоявшейся традиции. Они передают от отца к сыну, как надо жить, и, за редкими исключениями, каждый старается жить, как все. Жизнь племени должна быть неизменной, ее ограждают безжалостные табу. Но все племена меняются и, если не гибнут, превращаются в нации, которые в свою очередь тоже меняются. Что заставляет их меняться?

В каждом племени изредка являлись нарушители традиции, еретики, искатели новых путей. Мы не знаем, кто изобрел лук и стрелы, гончарный круг, колесо, кто первый приручил лошадь. Несомненно, в каждом случае это сделал один человек, или немногие отдельные люди; мы не знаем их имен. Это были подлинные герои культуры, нарушившие главное правило: «живи, как все». Еще больше нарушали традицию люди, сомневавшиеся в каком-нибудь веровании племенной религии: чаще всего они расплачивались за это своей жизнью.

Еретики являлись редко, и культуры развивались медленно. Конфликты между государствами приводили к войнам, но войны мало меняли понятия людей и их образ жизни. Внутри каждого государства возникали социальные конфликты, приводившие к восстаниям, но восставшие всего лишь пытались заменить «плохого» царя «хорошим», не посягая на общественный строй. История изображалась как последовательность войн и династических переворотов.

Но постепенно историки выделили, по крайней мере в истории Европы, три эпохи, отличающиеся особыми чертами, и назвали их «древностью», «Срединами веками» и «Новым временем». Резкие изменения, отделявшие эти три эпохи, вызывали пристальное внимание. Историки много спорили, пытаясь установить их временные границы. Границей, отделяющей древность от Средних веков, считали 476 год, когда германский князь Одоакр сместил последнего римского императора: до тех пор, полагают, была все еще «древность». Столь же условно датируется начало Нового времени. Часто считали, что рубежом здесь было открытие Америки Колумбом, происшедшее в 1492 году; но Колумб и его спутники были вполне средневековые люди. Более естественно считать началом Нового времени 1687 год, когда вышла книга Ньютона «Математические начала натуральной философии». Это было в самом деле начало современной науки, но сам Ньютон занимался еще библейской хронологией, углубляясь в Апокалипсис.

Бессмысленно спрашивать, когда в точности началось Средневековье или Новое время – так же бессмысленно, как спрашивать, когда в точности ребенок становится юношей, а юноша становится взрослым. И все же, различие исторических эпох вполне реально и может быть убедительно описано. Более того, в каждом случае можно указать особые группы людей, которые стояли на границе исторических эпох и доставили идейное обоснование эпохальных перемен. Эти группы, с их уникальными признаками, разделяют исторические эпохи, подчеркивая объективность этого деления.

Культура, как и всякая живая система, неоднородна: в ней образуются субкультуры, обычно отражающие местные особенности или социальные типы. Такие субкультуры могут быть, например, продолжением древних племен, составивших единую нацию, какими были в древней Греции ионийцы, дорийцы и эолийцы, а в древней Руси – поляне, древляне, кривичи и другие племена восточных славян; потомки этих племен различаются диалектами языка и обычаями. В других случаях субкультуры образуются вследствие переселения и колонизации; так из английской культуры выделилась американская субкультура, впоследствии развившаяся в отдельную культуру, а из русской – субкультуры поморов, сибиряков и донских казаков. Во всех таких случаях субкультуры передают свои свойства по наследству генетическим и культурным путем: это значит, что дети, родившиеся от представителей некоторой субкультуры, получают при рождении физические особенности своих родителей, а при воспитании – их культурные особенности.

Но в некоторых случаях образуются субкультуры особого рода, соединяющие людей не случайностью их рождения, а общим образом мыслей и поведения: в определенной исторической ситуации может возникнуть целый слой людей, недовольных всем строем жизни своего общества и стремящихся к его радикальному преобразованию. В отличие от отдельных еретиков, оспаривавших ту или иную доктрину или обычай, эти люди обличают все, во что веруют их современники, проповедуя новую веру; и они делают это не в одиночку, а вместе, поддерживая друг друга и продвигаясь в одном направлении. Эти субкультуры можно назвать «прогрессивными», поскольку от них зависят важнейшие перемены в общественной жизни, обозначаемые словом «прогресс».

Первой такой субкультурой были ранние христиане. Учение первых христиан было продуктом еврейского мессианизма, созревшего в течение столетий пророческого движения, проповедовавшего социальную справедливость и принявшего неизбежную в то время религиозную форму. Апостол Павел придал этой еврейской субкультуре универсальный характер, отделив ее от племенных обрядов, и из нее развилась христианская культура Европы.

Христианство не разрешило социального вопроса: возникшая из него церковь пошла на соглашение с государством и собственниками. В обществе установился феодальный строй, а труженикам пришлось довольствоваться призрачными вознаграждениями загробного мира. Но религия Христа впервые установила принципиальное равенство всех людей, то есть, в нашем понимании, положила начало представлению о *правах человека* – не грека, не римлянина, не еврея, а *человека вообще*. Более того, христианство провозгласило в своей проповеди «милосердия» первые начала *гуманизма*, прежде понятные лишь немногим мудрецам, а теперь обязательные – по крайней мере на словах – для всех людей. Эти принципы, и сейчас еще далекие от осуществления, были началом новой эпохи в истории человечества, которую впоследствии назвали Средними веками.

После полутора тысяч лет средневековья, когда христианство выродилось в систему циничной эксплуатации, духовная жизнь людей снова зашла в ту-

пик, как это было уже в конце Древнего мира. В течение Средних веков много раз возникали ереси и секты, ставившие под сомнение какие-нибудь доктрины или ритуалы церкви; но эти еретики никогда не отвергали христианскую религию в целом. Можно думать, что все это время в Европе не было неверующих.

Переход к Новому времени, так же, как переход от древности к Средневековью, отмечен появлением прогрессивной субкультуры – целого слоя людей, полностью отвергших установленные верования и учреждения – церковь и феодальный общественный строй. Эта субкультура, подготовленная английской эмпирической философией и общественной мыслью, сформировалась в середине восемнадцатого века во Франции. Ее идеологами были французские просветители, соединившиеся вокруг знаменитой «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. В это время и произошел переход общества к новым формам сознания, а затем к новой организации жизни.

Общество Нового времени мы называем буржуазным, поскольку власть в нем перешла от феодалов к буржуазии. Внешним выражением этого была Французская революция. В новом обществе было достигнуто юридическое равноправие граждан, но по-прежнему не был разрешен социальный вопрос: результаты народного труда присваивались собственниками, а народ жил в нищете. Эта трагедия Нового времени вызвала – в передовых странах Европы – массовый протест трудящихся, социалистическое движение. Во главе этого движения стали образованные люди, составившие особую субкультуру. К ним примкнула лучшая часть русского общества, воодушевленная идеалом освобождения трудового народа. Эта общественная группа, получившая решающее значение в развитии России, называется *интеллигенцией*.

Н. В. Шелгунов распространяет это название на все прогрессивные субкультуры Европы, о которых шла речь: на первых христиан, на просветителей и на социалистов. Таким образом, он придает термину «интеллигенция» весьма общее значение, видя в интеллигенции движущую силу европейской истории. Конечно, выбор термина представляется нам странным, поскольку мы с трудом можем связать его с первыми христианскими общинами (но уже легче с французскими просветителями и европейскими социалистами). Впрочем, и наш термин («прогрессивные субкультуры»), хотя и правильно описывает явления культурного развития, тоже плохо звучит – слишком формально и наукообразно. Между тем, речь идет о вполне реальном механизме смены исторических эпох, заслуживающем серьезного изучения, тем более, что очередная смена эпох происходит у нас на глазах. Этого не замечают те, кто видит в истории двадцатого века только поражение русской революции, с механическим продолжением буржуазного строя. Может быть, именно неудачная терминология привела к тому, что важное открытие Шелгунова осталось незамеченным. Между тем, оно отчетливо выразило самопонимание интеллигенции, осознавшей свою историческую роль.

В середине шестидесятых годов русская интеллигенция была уже многочисленным слоем населения России, сознававшим свою особенность и называвшим себя этим словом. Так же называли ее противники, сторонники старого образа жизни, сознательно или бессознательно заинтересованные в сохранении сословного строя и самодержавной власти. Всю эту массу людей, желавших попросту «жить, как все», интеллигенты называли *мещанством*.

Это еще одно ключевое слово русского языка, трудно переводимое на иностранные языки. Смысл этого слова почти утрачен. Первоначально, в официальном языке России, оно означало «мещанское сословие», то есть городское население, не входившее ни в «более высокие» сословия (дворянство и духовенство), ни в «более низкое» крестьянское сословие. Сюда относились не состоявшие в крепостной зависимости ремесленники, торговцы, приезжие иностранцы, владельцы уже возникших промышленных предприятий, многочисленные чиновники и сами интеллигенты – учителя, врачи, литераторы, адвокаты и другие люди «свободных профессий». Этим «казенным» термином воспользовался Александр Иванович Герцен для обозначения *западной* буржуазии, которую он изучил в годы своей эмиграции, и которую, в качестве убежденного социалиста, он считал главным врагом трудящегося народа. Затем этот термин был перенесен русскими интеллигентами на враждебную им окружающую публику, причем была полностью разорвана связь с казенным употреблением слова «мещанство», сохранившимся в языке царских учреждений. Для полиции сами интеллигенты были «мещане»! История этого слова сама по себе заслуживает изучения как часть не написанной до сих пор новой истории России.

Для русской интеллигенции все ее политические враги были «мещане» – в том числе чиновники и дворяне. Более того, смысл этого слова нередко расширялся на всю инертную массу населения Европы, противостоящую жизненно важному для интеллигенции ходу исторических событий. [Именно так понимал слово «мещанство» Р. В. Иванов-Разумник, автор известного двухтомного труда «История русской общественной мысли» (1907), включивший в европейское «мещанство» не только буржуазию, но и аристократию, и духовенство всей Европы. Эта книга недавно была переиздана. Она была по существу попыткой написать историю русской интеллигенции и содержит много интересного фактического материала, но вряд ли эта попытка удалась, потому что автор пытается заключить явления жизни в мертвые философские схемы.] В наше время термин «мещанство» вряд ли вызывает у русского читателя отчетливые представления. Но его прежнее значение возродится вместе с возрождением нашей интеллигенции, потому что враждебная ей общественная среда не заслуживает иного названия.

Самое понятие «интеллигенция» часто определялось в отрицательном смысле, как «антимещанский» слой населения России. Правильнее было бы определить ее как часть образованного населения России, *стремившуюся к просвещению и освобождению трудящегося народа и заботившуюся о его интересах*. Интеллигенция была субкультурой, какую мы описали выше под названием «прогрессивной». Как и другие субкультуры этого типа, она боро-

лась не за свои собственные интересы, а ставила своей целью благо других. Пользуясь термином Огюста Конта, изобретенным в тридцатых годах девятнадцатого века, можно назвать эту установку интеллигенции «альтруистической». Далее, это была *гуманистическая* субкультура, поскольку ее основной ценностью был *человек*, независимо от его происхождения и социального положения. Русские интеллигенты, сочувствуя главным образом труженикам, боролись за *социальную справедливость*. Но они не отказывали в человеческих правах и людям «нетрудовых» сословий: дискриминация людей по «социальному происхождению», сразу же введенная советской властью, была им чужда, и сами они стали жертвой этой политики. Точно так же, им чужда была любая дискриминация по национальному принципу: наряду с глубокой любовью к своей родине, русская интеллигенция была проникнута чувством интернационализма. Она открыта была всем мыслям и чувствам, приходившим из-за рубежа.

Русская интеллигенция состояла из людей разного происхождения, не придававших своему происхождению никакого значения – если не считать так называемых «кающихся дворян», испытывавших чувство вины перед трудовым народом, перед теми,

Чьи работают грубые руки,
Предоставив почтительно нам
Погружаться в искусство, в науки,
Предаваться мечтам и страстям.

Эти стихи Некрасова выражали настроение интеллигентов дворянского происхождения, составлявших со второй половины XIX века уже небольшую часть русской интеллигенции. Главной частью ее были «разночинцы», то есть люди из «низших» сословий, получившие некоторое образование и усвоившие интеллигентские идеи в так называемых «кружках», стоявших в начале русского общественного движения. Первые из этих кружков приобрели заслуженную известность: таков был кружок «западников» вокруг Герцена и Огарева, куда входили Грановский, Белинский и Бакунин, кружок «славянофилов» вокруг братьев Аксаковых, Хомякова и Киреевского, кружки «народников», из которых вышла организация «Земля и воля», и впоследствии кружки марксистов.

Большинство разночинцев происходило из городского населения низших сословий и из духовенства, причем дети священников уже в середине столетия легко освобождались от религии, сохраняя привитые им в детстве этические идеалы христианства. При столь разном происхождении, русская интеллигенция приобрела характер *наследственной* субкультуры, так как в интеллигентских семьях дети воспитывались в духе бескорыстной, часто аскетически жертвенной работы на благо народа – и с чувством глубокого презрения к «мещанству», с его атрибутами корысти и карьеризма. Интеллигенция, насчитывавшая перед революцией сотни тысяч людей, была единственным в своем роде этическим явлением. Ее иногда сравнивали с монашескими орденами, внушавшими своим членам суровое чувство долга; но монахи могли

рассчитывать на потустороннее вознаграждение, тогда как интеллигенты, не верившие в такие сказки, могли лишь предвидеть наказания от начальства.

Основной чертой интеллигентской этики была бескорыстная работа на благо народа. Русские интеллигенты резко отличались этим от образованных специалистов Западной Европы. Образованные люди Европы – учителя, врачи, инженеры, юристы, литераторы и ученые – были в основном буржуа по своей психологии и жизненной практике. Они добивались успеха в своей профессии, движимые своими материальными интересами и престижем – даже если делали свое дело добросовестно и талантливо, что было тоже, впрочем, условием успеха. Энтузиасты, сознательно работавшие в общественных целях, встречались редко и вызывали в своей среде недоумение и даже неприязнь.

В России, напротив, сложился другой тип образованного человека. Русские учителя, как правило, ставили себе целью просвещение народа и мирились с самыми скромными условиями жизни. Часто они стремились преподавать в сельских школах, потому что считали неграмотность и отсталость крестьян главным несчастьем России. Вместе с грамотой они прививали детям свои понятия о жизни, свои идеалы справедливости. Это требовало осторожности и нередко вызывало репрессии начальства. Врачи, работавшие в условиях общего невежества и некультурности народной массы, получали бедное жалованье, но не брали денег со своих больных. Русские врачи считали бессовестным извлекать выгоду из страданий простого человека, едва зарабатывающего свое пропитание. Чехов и Вересаев были врачи, видевшие в своей профессии служение народу, но они были и писатели, изобразившие в своих произведениях темные стороны жизни. Такая этика все еще встречается в нашей стране: все знают, как жили и работали хорошие учителя и врачи, нередко наши отцы или воспитатели. Новый тип специалиста, стремящийся только к собственной выгоде и презирающий тех, кто не может платить, все еще кажется нам неестественным, «нерусским» явлением – и это наследие нашей интеллигенции.

Даже инженеры и адвокаты, работавшие на зажиточную публику, нередко имели собственные взгляды и отказывались от бесчестных заработков. Но особенным, беспримерным явлением была русская литература. В условиях царской цензуры литература стала главным выражением общественного мнения, совестью России. В европейской литературе была сильная критическая струя, но не было ничего подобного общественной позиции русского писателя и связи между ним и его публикой. Можно сказать, что русские журналы были голосом страны. В это трудно поверить в наши дни, когда литература просто никому не нужна и – соответственно этому – прекратилась.

Братство интеллигентов было разнообразно. В него входили знаменитые профессора и инженеры, люди с мировой славой, скромные деревенские учителя и врачи, и даже чиновники, пытавшиеся улучшить нравы своего учреждения. Были и богатые люди, искусные дельцы и капиталисты, тратившие свои деньги и отдававшие свой труд для «общего блага». Таковы были братья Третьяковы, создавшие знаменитую картинную галерею, таков был Савва

Мамонтов, создавший оперный театр, и совсем уже нельзя назвать капиталистами таких людей, как самоотверженные издатели Павленков, Сытин, Солдатенков, наполнившие Россию прекрасными книгами, или блестящий инженер Николай Георгиевич Михайловский, построивший сибирскую магистраль и ставший, под псевдонимом Гарин, замечательным писателем. У этих людей деньги были не для себя.

Интеллигенция была неоднородна также и в политическом отношении. В самых общих чертах, ее можно разделить на радикалов и либералов.

Либералы – в русском смысле этого слова – не были похожи на западные партии этого названия. В Западной Европе либерализмом называлось политическое движение буржуазии, добивавшейся «свободы торговли», то есть отмены государственных ограничений промышленной и торговой деятельности. Поскольку в этом состоял главный интерес поднимавшейся к власти буржуазии, в европейском сознании связь между «торговлей» и «свободой» стала почти аксиоматической, как это видно даже из некоторых мест «Истории философии» Рассела. Но за этим частным аспектом свободы стоял более общий и более важный для человечества вопрос о свободе личности. На Западе, где крепостное право исчезло уже в конце средневековья, и где личность человека – во всяком случае, личность собственника – была в значительной степени ограждена от произвола властей, лозунг «свободы» относился именно к свободе экономической деятельности. Европейский либерализм выражал интересы буржуазии и имел, таким образом, корыстный, эгоистический характер. Конечно, буржуазия, защищая свои материальные интересы, тем самым выступала как представитель общечеловеческого интереса: освобождая себя от феодальных уз, она не могла не содействовать освобождению человека вообще.

В России, где до конца XIX века почти не было буржуазии, заимствованный с Запада либерализм приобрел прямой характер, более связанный с первоначальным смыслом слова *libertas*, «свобода». Точно так же, русские придали прямой смысл термину «демократия», понимая под этим не западную систему представительного правления, а «народоправство» в общем и не очень определенном смысле этого слова. Для русских либералов важна была не «свобода торговли», а *просто свобода*. Либералами были декабристы и Пушкин, не имевшие отношения к торговле, либералами были чиновники вроде Сперанского, генералы вроде Милютин, юристы вроде сенатора Кони, а в двадцатом веке – кадеты, то есть члены конституционно-демократической партии, иначе называвшей себя «партией народной свободы». Многие из русских либералов были люди с глубоким образованием и гуманными чувствами, немало сделавшие для развития России. Этот слой русской интеллигенции дорожил условиями своей жизни, не следуя примеру аскетов и подвижников, так что радикальные интеллигенты часто подозревали в либералах неискренних союзников или даже врагов.

Если судить о человеке с точки зрения его общественной функции, то к интеллигентам надо отнести и некоторых людей, не сочувствовавших либеральным доктринам, и даже прямо противостоявших интеллигентскому ра-

дикализму. Достаточно упомянуть помещиков-славянофилов или таких писателей, как Гоголь, Толстой и Достоевский. Конечно, вопрос о том, кого следует считать интеллигентом, отнюдь не прост. Радикальные русские интеллигенты сказали бы, что славянофилы и Гоголь им чужды, а Толстой и Достоевский хотя и радикальны, но в другом направлении. Эти крайние случаи иллюстрируют сложность занимающего нас вопроса.

Чем же была *радикальная* интеллигенция, неприязненно относившаяся к барскому либерализму и не верившая ни в царя, ни в бога? Значительное большинство русской интеллигенции усвоило, в той или иной форме, идеи европейского *социализма*. Это слово весьма скомпрометировано в нынешней России, поскольку им пользовалась советская пропаганда – для прикрытия нашего рабства и нищеты. Поэтому надо разъяснить, что означало для русских интеллигентов слово «социализм».

Французская революция выдвинула девиз: «свобода, равенство, братство», распространившийся по всему миру и определивший чаяния новой исторической эпохи. Люди, принявшие этот лозунг всерьез, – и во Франции, и в других странах – придавали ему глубокое значение, далеко выходящее за рамки того, что было достигнуто революцией. После поражения крайних революционеров – якобинцев – и последовавшей затем диктатуры Наполеона и реставрации, во Франции установился компромиссный государственный строй – буржуазная монархия Луи-Филиппа. С 1830 года «свобода» понималась как соблюдение законов, то есть прекращение феодального произвола, а «равенство» означало юридическое равноправие всех граждан, то есть устранение сословных привилегий. Это устраивало буржуазию, ставшую господствующим классом вместо дворянства, богатых крестьян, которые могли больше не опасаться за приобретенные после революции земли, и городских предпринимателей, торговцев и банкиров, которые могли беспрепятственно обогащаться. «Четвертое сословие» – неимущие труженики, составлявшие подавляющее большинство населения, – не получило ничего, кроме юридических фикций: по известному афоризму, при буржуазном строе «богатый и бедный имели одинаковое право ночевать под мостами Сены». К этому свелись «свобода» и «равенство» для простого народа; о «братстве» можно было и вовсе забыть.

Народ не мирился с властью денег, обрекавшей его на нищету и бесправие. Революция 1848 года свергла монархию, но завершилась кровавой расправой над парижскими рабочими. Политическая власть осталась в руках богатых, бесстыдно выставлявших напоказ свою роскошь. После трех лет буржуазной республики, ничего не изменившей в положении народа, власть захватил племянник Наполеона, назвавший себя «Наполеоном Третьим». Это была власть буржуазии без всякого парламентского прикрытия.

В эти годы, тридцатые и сороковые, появились социалистические учения. Учителями были бескорыстные энтузиасты – конторщик Фурье, разорившийся аристократ Сен-Симон, английский фабрикант-филантроп Оуэн. Их

последователей стали называть «социалистами». Подобно первым христианам, социалисты не посягали на государственный строй и вначале считали безразличной форму правления. Но, в отличие от первых христиан, они видели главное зло в *частной собственности* и понимали, что подлинная свобода, настоящее равенство и братство людей невозможны, пока все богатства находятся в руках немногих, а всем остальным приходится добывать себе пропитание наемным трудом. Социалисты верили, что можно устроить справедливое общество, где все будут работать и никто не будет собственником средств производства – земли, фабрик и заводов. Они верили, что такой справедливый строй может быть установлен мирными средствами: злополучные революции свидетельствовали, что этого нельзя добиться силой. Поскольку их вера казалась безумной, таких энтузиастов прозвали «утопистами», от греческого выражения «место, которого нет».

Безумные мечтатели, предлагавшие невозможные проекты, являлись во все времена: они хотели летать, передавать мысли на расстоянии и даже добраться до Луны и планет. Их высмеивали, но иногда их мечты со временем исполнялись. Общество, какое представляли себе социалисты, не могло быть столь простым, как они думали, но и ковер-самолет был проще настоящего самолета. Очень скоро выяснилось, что богатые и власть имущие не проявляют доброй воли и не хотят расстаться со своей собственностью. Тогда явились другие люди, возложившие свои надежды на захват власти. Это было возвращение к насилию, глубоко чуждому первым социалистам. Из мечты о социальной справедливости возникла «диктатура пролетариата», потом «советская власть», «национал-социализм», и так далее.

Но русская интеллигенция восприняла социализм в его первоначальной форме, как борьбу за социальную справедливость. Учения «утопистов» и романы Жорж Санд нашли в России благоприятную почву. Их сразу усвоили Герцен и Огарев; их обсуждали в кружке Петрашевского, где начинал свой путь Достоевский; к ним пришел в конце жизни Белинский. Щедрин всю жизнь был фурьеристом, а Чернышевский и Добролюбов уже не довольствовались мирным социализмом и замыслили немирные средства. Постепенно в России проявились все цвета социалистического спектра.

Русская интеллигенция формировалась под знаком социализма. Даже русские либералы не были чужды этих идей: кадеты были, как правило, тоже ревностные сторонники социальной справедливости, возлагавшие надежды на мирную эволюцию. Более того, Толстой и Достоевский, искавшие спасения на путях религии, всегда стремились к равенству и братству людей, как бы мало они ни ценили свободу. Невозможно найти интеллигента, избежавшего влияния социализма, – во всяком случае, после декабристов. Причиной этого было особое отношение к собственности, всегда характерное для России.

Изречение Прудона «собственность – это воровство» нигде не было так справедливо, как в нашей стране. В России собственность редко была плодом личного труда. Труженик был неимущ, а в самом обычном случае он сам был крепостной собственностью. Главное имущество – земля – доставалась по

наследству и была в руках дворян. Иначе говоря, в России продолжался сословный строй, какой был в Европе в Средние века. В эту отсталую страну, начиная со времени Петра, непрерывно доставлялись мысли европейского производства, на несколько столетий опережавшие ее убогую действительность. И, прежде всего, сама русская интеллигенция была неимущей – если не считать «кающихся дворян». Сыновья священников, мелких чиновников или крестьян, бывшие семинаристы и студенты, ходившие в рваных сапогах, с продранными локтями, пробивались «в люди», зарабатывали себе на жизнь, но редко обзаводились собственностью. Собственность вызывала у них естественную неприязнь, но никоим образом не зависть: они слишком хорошо знали, откуда берется эта собственность.

Россия, географически принадлежащая к Европе, была не только отсталой страной, это была страна азиатского беззакония. Помещики распоряжались крестьянами без всяких правовых ограничений, а те оплачивали им, воруя все, что плохо лежит; маркиз де Кюстин не престаивал удивляться этому, не умея уберечь свои чемоданы. Чиновники ничего не делали без взяток: «не подмажешь – не поедешь». Купцы твердо знали главное правило коммерции: «не обманешь – не продашь». Русский интеллигент, начавший об этом задумываться, не мог проникнуться уважением к собственности. Даже русский барин, читавший французские книги, начинал стыдиться своей собственностью и искал ей какое-нибудь оправдание; если не находил, становился интеллигентом и социалистом. Можно сказать, что идеи социализма принялись в России, как нигде в мире, и должны были принести урожай. К несчастью, выросло не то, что сеяли интеллигенты, но это уже другой разговор, и это была не их вина.

Все идеи, приходившие в Россию с Запада, воспринимались как «последнее слово науки». Это не так уж удивительно, поскольку отсталость нашей страны была очевидна, и превосходство европейской культуры бросалось в глаза всем, кто имел к ней доступ. Русским не очень дозволялось ездить в Европу, но потребности имперской бюрократии заставляли посылать туда молодых людей – «для подготовки к профессорскому званию», или для обучения какому-нибудь полезному искусству. А главное – в Россию все время проникали иностранные книги. Знание языков было тогда началом всякого образования; во всяком случае, все окончившие гимназию читали по-французски. Из французских книг, часто не прошедших никакой цензуры, можно было узнать много интересных вещей. В частности, идеи социалистов вскоре приобрели наукообразный характер. Виктор Консидеран рационально изложил мысли Фурье, ученики Сен-Симона придали его идеям систематический вид, наконец, Луи Блан и Прудон писали уже ученые трактаты, доказывая неизбежность социальных перемен. Следующей стадией «научного социализма» был, разумеется, марксизм; но к нему интеллигенты обратились лишь в конце девятнадцатого века. Когда первые русские интеллигенты ссылались на «новейшие достижения науки», они имели в виду все еще «утопический социализм», с его мирными средствами просвещения и кооперации.

Идеи революционного насилия тоже явились не без влияния Запада. Декабристы принялись устраивать, в сущности, дворцовый переворот по образцу русского восемнадцатого века, но уже под влиянием Французской революции. Офицеры научили солдат кричать «Ура, Константин!», что солдатам было понятно, но, сверх того, «Ура, конституция!», что было уже совсем не по-русски. Есть версия, что солдаты считали Конституцию женой Константина. Народовольцы перешли от пропаганды к террору – от отчаяния. Их вылавливали и казнили, и они хотели было устроить восстание, или, как вспоминает Вера Фигнер, «инсurreкцию»: у них не было русского слова. Подсчитав сторонников, обнаружили всего несколько сот «инсургентов», что было явно недостаточно. В таких случаях «террор» возникает сам собой, а потом ему ищут обоснование.

Наконец, из Европы пришел совсем уже научный социализм, или коммунизм, в котором насилие, по-видимому, объявлялось законным и желательным. Так поняли марксизм некоторые русские интеллигенты. Это было не совсем верно: европейские социалисты обошлись без насилия. Но Россия, погрязшая в насилии, должна еще этому научиться.

Задача, которую ставили себе русские интеллигенты, была непомерно трудна. Они хотели осуществить свои идеалы в стране, еще не вышедшей из феодального строя, с самодержавной монархией и бюрократическим управлением, подавлявшим всякую общественную инициативу. Очевидный путь развития страны шел через капитализм, и буржуазия, уже сложившаяся в начале двадцатого века, готовилась захватить власть. Радикальная интеллигенция, видевшая перед собой буржуазную Европу, не хотела такого будущего. Русские интеллигенты видели в своем народе задатки нового общества. Они находили их в крестьянской общине, где сохранились навыки сотрудничества и самоуправления, и пытались привить крестьянам современную кооперацию. Они устраивали рабочие профсоюзы. Учителя учили детей грамоте, врачи боролись с болезнями и суевериями. Вся интеллигенция поднималась на борьбу с голодом и холерой.

В несколько десятилетий русские интеллигенты проделали огромную работу, приблизив Россию к европейской культуре. Их усилиями были созданы университеты с высокими научными традициями, научные школы, получившие мировое признание. Начало века Россия встретила бурным развитием промышленности и железных дорог: все это строили русские инженеры. Русская литература, музыка и искусство, мощно развившись в девятнадцатом веке, в начале двадцатого удивили мир своей силой и новизной.

Культурный рост России не был стихийным процессом. То, что было сделано в России, не могло быть сделано без энтузиазма. Здесь была та же энергия человеческого духа, которая просветила варваров Европы, выстроила соборы, создала современную цивилизацию. Но, несомненно, здесь было больше разумного, сознательного деяния. Это было деяние русских интеллигентов, благородных и бескорыстных создателей нашей культуры. То, что

они сделали, не должно быть забыто. Но роль интеллигенции вовсе не исчерпана. Напротив, она неизбежно должна снова взять на себя историческую функцию, которую не может выполнить никто другой.

Судьба русской интеллигенции была трагична. Все знают мещанскую версию русской истории, сваливающую на интеллигенцию вину за неудавшуюся революцию. Но революции не устраиваются по замыслу людей – они *происходят*. Так произошла, в условиях проигранной войны и отчаяния народной массы, Февральская революция. Стихийное движение обычно находит вождей в образованных классах общества, и эти вожди в значительной мере случайны. Так было во Французской революции, и так случилось в России. Подлинными вдохновителями интеллигенции не дожили до революции. А люди действия, берущие на себя организацию революционных учреждений, обычно не бывают выдающимися людьми. Развитие событий, последовавшее за Февральской революцией, не было результатом какого-нибудь плана: революционные события всегда случайны, хотя люди пытаются придать им определенное направление. Военный путч, устроенный большевиками и названный «Октябрьской революцией», отдал власть в руки сектантов, вообразивших себя единственными толкователями и исполнителями марксизма. Большевики были фанатики, как правило не имевшие серьезного образования: их можно назвать полуинтеллигентами. Вождь большевиков Ульянов, известный под псевдонимом «Ленин», был ловкий политический тактик, использовавший общую усталость от войны. Его партия готова была заключить мир на любых условиях, и это доставило ей решающую поддержку солдат и матросов. Именно этим объясняется успех большевистского переворота. Поскольку Маркс и Энгельс не оставили никаких указаний об организации нового общества, большевики не знали, что делать со свалившейся в их руки властью, и принялись импровизировать, разрушив хозяйственную систему страны и не умея заменить ее ничем другим.

Русская интеллигенция хотела изменить государственный строй России. В феврале 1917 года она приветствовала взрыв народного гнева, свергнувший гнилую монархию, но она же отвергла октябрьский переворот. Учредительное Собрание, избранное единственным в истории России свободным голосованием, было творением интеллигенции, ее гордостью и надеждой. Интеллигенты не сумели защитить Собрание от горстки сектантов, навязавших России свою волю. Грустная правда состоит в том, что народ, измученный войной, подчинился этой воле. Русская интеллигенция противилась ей, сколько могла. Но она не умела ни вести войну, ни выйти из войны. Историческая вина интеллигенции была именно в том, что она не умела организовать насилие.

Подавляющее большинство интеллигенции было потрясено разгоном Учредительного Собрания и произволом большевиков. Интеллигентная молодежь боролась с ними на фронтах гражданской войны. Заключив с Германией Брестский мир, большевики смогли демобилизовать армию и удержать

власть. Они обеспечили нейтралитет крестьян, проведя задуманную эсерами аграрную реформу. Боровшиеся против них силы не имели общей программы и не могли выработать общую политику. «Белая» армия была неестественным союзом монархистов с либералами, и в послевоенной разрухе иностранные государства не могли повлиять на ход российских событий. Большевики выиграли гражданскую войну и сумели продлить свою власть на несколько лет, допустив частное хозяйство под названием «новой экономической политики». Но, конечно, их утопические планы не удались. Сотни тысяч интеллигентов, спасаясь от большевистского террора, ушли в эмиграцию, в том числе самые активные общественные деятели и самые способные люди науки и искусства.

В середине двадцатых годов большевики потеряли власть. Установился фашистский режим во главе с малоизвестным партийным бюрократам Джугашвили, выступавшим под псевдонимом «Сталин». Фашистский период в истории двадцатого века надо рассматривать как промежуточное явление на границе двух исторических эпох, вызванное пережитками феодализма и непрочностью капитализма в отсталых странах Европы и Азии. Сталинский режим использовал невиданные в истории карательные методы, почти полностью уничтожив всю активную часть русского общества. Самое существование «советского общества» было лишь хозяйственным каннибализмом, принесением в жертву людей для продления несостоятельной системы власти. Анализ советской истории выходит за рамки этой статьи. Но последняя фашистская империя развалилась навсегда, и мы оказались в буржуазном мире, где никому до нас нет дела.

Теперь у нас пытаются восстановить капитализм, но это невозможно без законного порядка. Нынешние политики и журналисты принимают за образец рыночное хозяйство в его современном виде, то есть *умирающий* капитализм. В сущности, эта система давно уже находится в тупике, у нее нет новых идей, нет планов на будущее. Правители западных стран пытаются справиться с безработицей, искусственно стимулируя бессмысленно раздутое потребление. Не видно выхода из хозяйственного застоя. А главное, западное общество трагически лишено общественных идеалов – целей человеческой деятельности. Мы видим жалкую возню наших правителей, пытающихся соорудить какую-нибудь идеологию. Нами правят нищие духом. Рыночное хозяйство само по себе не может быть целью. Молодые люди ищут смысла в жизни, им нельзя сказать: «Идите на рынок».

Свободного рынка в старом смысле слова, где состязаются независимые производители, давно уже нет. Государственное вмешательство в экономику стало общим правилом, крупные предприятия принадлежат уже не отдельным капиталистам, а сложным корпорациям, управляемым менеджерами и инженерами. Западная экономическая система, в сущности, давно превратилась в пародию на государственный социализм. В этой системе нет разума. Она напоминает машину, движущуюся неизвестно куда, с перегретым мотором и водителем, едва успевающим следить за показаниями приборов. Она утратила ориентацию на человека и ориентируется на вещи. Нам незачем

подражать этой обреченной цивилизации: мы должны понять, что́ должно ее сменить.

Эпоха капитализма приходит к концу. Интеллигенция стоит на рубеже исторических эпох, между застоем настоящего и трудными решениями будущего. Традиция русской интеллигенции жива. Россия, никогда не принимавшая буржуазного равнодушия к человеку, не мирится с возникающим бесчеловечным обществом, где удачливые воры выставляют напоказ свою роскошь, где образование становится товаром, за который надо платить, где врач спекулирует на страданиях больного, где виновных больше не судят, а неудобных безнаказанно убивают. Нравственные убеждения, завещанные поколениями русских интеллигентов, вызывают в лучших людях нашего времени непреодолимое отвращение к тому, что происходит в России. Такого общества мы не хотим.

Осмысление происходящего и выработка будущих целей является задачей интеллигенции. Русская интеллигенция должна прежде всего думать о восстановлении русской культуры. Мы не можем надеяться, что кто-нибудь это сделает за нас. Мы не можем рассчитывать на импорт идеологии, как это делали наши предки. Запад может доставить нам только новые товары: у него нет больше новых идей. Россия, где нет буржуазных традиций и где собственность не имеет престижа, может быть местом, где возникнут эти идеи.